

— КНИГА ТРЕТЬЯ —

ГОРОД ДВУХ ИМЁН

A woman in a blue and gold historical dress stands on a stone ledge, looking out over a city at sunset. The city is built on a hillside and features many domes and minarets. The sun is low on the horizon, casting a golden glow over the scene. In the foreground, there is a small table with a white cloth, a lit lantern, and some bottles.

БЕРЕТ ДВУХ СОЛНЦ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ФЭНТЕЗИ

1523–1527

Макс Серов

**Берег двух солнц -
"Город двух имен"**

«Автор»

2026

Серов М.

Берег двух солнц - "Город двух имен" / М. Серов — «Автор»,
2026

Берег двух солнц. Книга третья: «Город двух имён» «Между прошлым и будущим она ищет своё настоящее.» 1523 год. Вера Соколова впервые перестаёт бежать и остаётся — в Константинополе, ставшем Стамбулом. Здесь нет одной «страницы сто двенадцать», нет даты, за которую можно держаться: слишком много голосов, слишком много судеб. Она работает при дворе, лечит, пишет трактат, и каждый день молчит о том, что знает — о будущем Ибрагим-паши, о судьбах людей, которым нельзя подсказать. Это роман не о битвах, а о выборе жить: о доверии и молчании, о языке, который соединяет чужих, о знании, которое становится бременем и инструментом. Вера встречает Хюррем, говорит с ней по-русски, спорит с визирем по-гречески, и понимает: уважение к чужой судьбе труднее, чем любое действие. «Город двух имён» — самая камерная часть серии, где история звучит в голосах людей, а её героиня учится быть не только свидетелем, но и частью мира, который она не может изменить, но может принять.

© Серов М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ	6
Константинопольс воды	7
ГЛАВА ПЕРВАЯ	12
Кемальдома	12
ГЛАВА ВТОРАЯ	23
Трактатчитают	23
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	34
Ибрагим-паша	34
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ	45
Хюррем	45
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Макс Серов
Берег двух солнц - "Город двух имен"

ПРОЛОГ

Константинополь / Стамбул · 1523

Константинопольс воды

«Тот же город. Другое имя. Другое время»

— *Вера Соколова, дневник. Конец февраля 1523 г.*

* * *

Запах пришёл раньше, чем берег.

Не рыба — хотя рыба была, она уже знала этот запах. Не смола — хотя смола тоже была, ей тоже не нужно было объяснять. Что-то ещё. Что-то, у чего нет названия в словарях, что-то, что составляют из частей: дым горящего дерева, конский навоз, гнилые водоросли на причальных сваях, и под всем этим — что-то сладкое, почти цветочное, невозможное в феврале, чего не должно было быть, но было.

Вера стояла у борта «Flor de la Mar» и дышала.

Утро было серым — не мрачным, просто зимним, с молочным небом, которое не обещало ни дождя, ни солнца. «Flor de la Mar» входила в Золотой Рог медленно, с тем торжественным терпением, с каким большие корабли входят в узкие воды: капитан кричал команды на португальском, матросы кричали в ответ на всём что у них было, и корабль, не обращая внимания ни на кого из них, делал что считал нужным.

Слева — европейский берег. Справа — азиатский. Она знала это, потому что ещё в детстве водила пальцем по карте — в книге с глянцевыми вкладками, которую мать купила на распродаже. Тогда карта казалась очевидной: Босфор, два берега, пролив. Сейчас пролив был настоящим, и она стояла посередине него на деревянной палубе, и это было совсем другим знанием.

Пролив был шириной в несколько сотен метров — здесь, у Золотого Рога, немного больше. Вода была тёмной, зимней, с короткими волнами от ветра. Шли другие суда — не только их, несколько сразу: торговые, небольшие рыбацкие, одно военное с высокими бортами, чей флаг она узнала как османский. Это всё было нормальным для крупнейшего порта Средиземноморья в феврале 1523 года — обычное рабочее утро водного города.

* * *

Айя-София появилась из тумана.

Не сразу — сначала был только силуэт, тёмный купол над линией берега, без деталей, без формы. Потом туман двинулся, как двигается всё живое, когда его потревожат, — неохотно, в сторону, — и купол стал куполом.

Вера смотрела на него и не думала ничего умного.

Это было странно — она привыкла думать всегда. Белград она встретила с перечнем дат в голове. Родос — с картой Рахели и хронологией осады. Здесь перечня не было. Не потому что она не читала про Стамбул — читала, конечно. Два исторических романа, путеводители, а ещё туристические сайты в самолёте из Москвы в Измир. Но это было тогда, ещё до всего. Она знала про Айя-Софию — знала как музей, знала как мечеть, знала как архитектурный эталон, знала как иллюстрацию в учебнике по истории Средиземноморья. Но «страница сто двенадцать» для Константинополя не существовала. Слишком большой. Слишком живой. Слишком долго происходило слишком много.

В Белграде было одно число: 1521 год, август. На Родосе — одно предложение: «Капитуляция 20 декабря 1522 года, условия почётные». Здесь — весь учебник, и ни одного числа, которое она могла бы держать как поручень.

Купол стоял на берегу и смотрел на море. Он делал это уже почти тысячу лет — с 537 года, когда Юстиниан освятил базилику, и с тех пор она пережила два разрушительных землетрясения, латинскую оккупацию, смену веры и смену города вокруг неё. Он сделает это ещё

дольше. Это она знала точно — и это знание не давало опоры, а только добавляло к тишине внутри ещё немного тишины.

За куполом — минарет. Один, пока один — остальные три достроят позже, при других султанах. Сейчас Айя-София была преобразована в мечеть семьдесят лет назад, при Мехмеде Завоевателе, и несла в себе оба слоя сразу: христианскую архитектуру и исламское богослужение, мозаики под побелкой и голос муэдзина на рассвете. Город двух имён внутри одного здания — это был весь Стамбул в маленьком.

* * *

На причале стоял человек.

Она увидела его раньше, чем узнала. Сначала — форма: прямой, в тёмном, со скрещенными руками. Потом — осанка. Потом — то, как он держал голову, чуть наклонив, как будто слушал что-то, чего другие не слышали. Она знала эту осанку. Она знала эту привычку слушать.

Кемаль аль-Румели стоял на причале Золотого Рога в феврале 1523 года — и был другим.

Не лицом — лицо было то же, немного постаревшее, может быть, или просто освещённое иначе, зимним белым светом. Не одеждой — одежда была другой, богаче, с деталями, которые она не умела читать, но которые читались тем не менее, как иероглифы на чужом языке: эти нашивки что-то означают, этот кинжал носят так, а не иначе, этот человек при дворе — он дворцовый, здесь, в этом городе, на этом причале. Не в Смирне с её рыбными рядами и складом Якоба. Не у белградской реки с запахом лагеря и горящим деревом. Здесь.

Рядом с ним стоял молодой посыльный — лет шестнадцати, не больше, с табличкой в руках, на которой что-то было написано арабским. Посыльный старался не смотреть на приближающийся корабль с тем специфическим усилием, с каким люди стараются не смотреть на то, на что очень хочется смотреть.

Кемаль смотрел.

Она подняла руку. Он не ответил сразу — секунда, две — потом кивнул. Едва заметно. Дворцовый жест: я вижу тебя, не показывай этого другим.

Вера опустила руку.

Ладно. Значит, здесь правила другие.

* * *

Причал встретил её шумом.

Не одним звуком — слоями звуков: лязг цепей, крики грузчиков на трёх языках сразу, женщина, которая ругалась — очень связно и очень долго — на человека с корзинами, и тот не возражал, а только смотрел в сторону с видом привычной покорности; осёл, привязанный к свае, который хотел куда-то идти и не понимал почему нельзя; запах рыбы свежей, рыбы копчёной, рыбы солёной и рыбы, которая начала быть чем-то другим. Слева — два мальчика тащили тюк, не столько тащили, сколько спорили о тюке. Справа — мужчина с распоротым рукавом стоял и смотрел на собственную кровь с выражением, которое Вера за два года научилась читать безошибочно: не рана была главной проблемой.

— Не сейчас, — сказала она себе по-русски.

Но посмотрела ещё раз. Рукав был распорот не случайно — слишком ровно, слишком намеренно. Порез на предплечье, неглубокий, но за ним стоял кто-то с ножом, и этот кто-то либо хотел напугать, либо не успел закончить. Мужчина не звал на помощь. Мужчина стоял и ждал. Чего — было непонятно.

Мимо прошли трое стражников — не торопясь, с тем ленивым достоинством власти, которое не нуждается в спешке. Один из них бросил взгляд на мужчину с порезом. Ничего не сделал. Прошёл.

Вера переложила мешок с плеча на плечо и двинулась вперёд.

Порт Стамбула в феврале 1523 года был самым крупным, что она видела. Не по количеству судов — хотя суда стояли тесно, борт к борту, от маленьких лодчонок до тяжёлых торговых каравелл с венецианскими и генуэзскими флагами на корме. По смешению. Здесь в одном пространстве существовали одновременно турецкие купцы, еврейские торговцы-сефарды, греческие рыбаки, персидские посредники, египетские судовладельцы, несколько явных европейцев с тем настороженным видом, с каким люди держатся в чужом порту. Языки перемежались: турецкий, греческий, ладино, арабский, что-то итальянское — Вера ловила обрывки и складывала как мозаику.

Это не было Смирной, где она знала уже каждого второго торговца по имени. Это не было Родосом, где порт был крепостью, а каждый вход фиксировался. Это был другой масштаб. Другая плотность. Другой город.

* * *

Кемаль вёл её сквозь всё это, не оглядываясь, с той уверенностью человека, для которого этот город — не просто место жизни, а конкретная разметка знакомых маршрутов. Здесь — направо. Здесь — не смотреть на тех двоих у стены. Здесь — придержать мешок, у этого поворота тесно.

Она шла за ним и смотрела.

Стамбул был везде сразу. Это было не как Смирна, где тебя захлёстывало постепенно — сначала одним, потом другим. Здесь всё приходило одновременно: запах, звук, цвет, тепло несмотря на февраль — не жара, но тепло, неожиданное для этого месяца, от камня, нагретого за бесчисленные летние годы и теперь отдающего. Голуби на крышах. Минарет над всем, острый, как игла. Где-то за домами — вода, Золотой Рог, которого не видно, но слышно.

Улицы от порта шли круто вверх — город стоял на холмах, семи, как говорили, в подражание Риму, хотя на самом деле холмов было больше. От воды до первых жилых кварталов — несколько минут подъёма по булыжнику, влажному и скользкому от зимней сырости. Дома по обе стороны были каменными внизу и деревянными выше — тот характерный стамбульский тип, который она потом узнает с первого взгляда: камень держит фундамент, дерево даёт лёгкость верхним этажам. Ставни закрыты или приоткрыты в зависимости от того, кто смотрел на улицу.

На одном углу — фонтан. Мраморный, с арабской вязью над чашей, с узким жёлобом, из которого бежала тонкая струя. Рядом — женщина с кувшином, не торопится. Ещё рядом — мальчик лет восьми, который смотрел на «Flor de la Mar» — её корабль ещё был виден над крышами — с тем открытым восторгом, с каким дети смотрят на большие суда. Обычная жизнь обычного утра.

Она думала: я знаю этот город как иллюстрацию в книге. Он знает этот город как ладонь.

* * *

Он заговорил, только когда они вышли на улицу пошире — туда, где толпа немного редела и можно было идти рядом, а не гуськом.

— Как дорога? — спросил он по-гречески. Не «рад видеть» и не «как здоровье». Просто — как дорога.

— Все хорошо. Шторм был, но потом утихло.

— Есть вещи, которые нужно знать сразу. — Он говорил, не замедляя шаг. — Не про работу. Про город.

— Слушаю.

— Здесь другой масштаб, чем в Смирне. Смирна знала тебя к концу первого года — это маленький город. Здесь тебя не будут знать никогда в том же смысле. Это другой тип анонимности: не потому что ты чужая, а потому что город слишком большой для памяти о конкретном человеке. — Пауза. — Это защита и проблема одновременно.

— Защита — понятно. Проблема?

— Репутация здесь строится иначе. В Смирне — через людей, которые тебя помнят. Здесь — через институт. Через принадлежность к чему-то, что город знает. Без этого ты просто ещё один приезжий лекарь.

Она думала на ходу.

— Значит нужна принадлежность.

— Да. — Он остановился у поворота, пропустил нагружённого мула с погонщиком. Они ждали. — У тебя уже есть кое-что. Связи Якоба в еврейской общине — Гадьяль тебя примет, и через него будут первые пациенты. Это начало. Но только начало.

— Что дальше?

— Посмотрим.

Это было его слово — дворцовое, стамбульское, умещавшее в себе всё между «ещё не знаю» и «не сейчас». Она уже умела его читать.

— Хорошо, — сказала она. — Посмотрим.

Они пошли дальше.

* * *

Дом, который Кемаль нашёл для неё через торговые связи Якоба, стоял в квартале выше порта — узкая улица, запах жареного теста откуда-то справа, трое детей, которые играли в ворота из двух камней и прерываться не собирались ни для кого. Второй этаж. Окно во внутренний двор.

Хозяин — пожилой сефардский торговец, человек Якоба по дальней цепочке связей — встретил её у двери, оглядел без лишних слов, сказал по-ладино: «Якоб писал. Комната наверху, нет других жильцов, вода утром». Это был исчерпывающий договор. Она поняла это с первого раза — два года учат слышать то, что сказано без объяснений.

Кемаль не поднялся. Остался у двери внизу — правила этого места, его место не здесь. Она не обернулась. Поднялась по лестнице одна, с мешком за плечом, тем самым мешком: тридцать страниц трактата из Смирны, восемьдесят новых страниц с Родоса, медицинский атлас с кровообращением на стёртой странице, зеркало Якоба, рецепты Иоанны. Привычный вес.

Комната была маленькой и холодной — нежилой холод, который уходит за день. Окно открывалось во двор, за двором был сосед с плоской крышей, на крыше сохло бельё. Обычная городская жизнь, плотная, слоями.

Она поставила мешок. Подошла к окну. За крышами — минарет, за минаретом — ещё один, и за ним небо, молочное, зимнее, то самое.

* * *

Она разложила вещи в том порядке, в котором привыкла работать: трактат слева, атлас справа, тетрадь наблюдений посередине. Этот порядок был выработан в Смирне и не менялся — не из суеверия, из эргономики. В темноте или в спешке рука должна найти нужное без взгляда.

Потом сидела у окна и слушала город.

Стамбул звучал иначе, чем Смирна. Не громче и не тише — иначе. Смирна шумела горизонтально: порт, рынок, улицы — всё на одном уровне, всё складывалось в один ровный гул. Здесь звук шёл с разных высот: крики снизу с улицы, голуби на соседней крыше, далёкий минарет с первым послеполудённым намазом, и под всем этим — что-то постоянное, низкое, что она не сразу идентифицировала. Вода. Золотой Рог был в двух кварталах, и его присутствие слышалось как фон — не шум волн, а просто ощущение большой воды рядом.

Она думала о том, что впереди.

Не конкретно — конкретного она не знала, кроме Кемалья и Гадьяля и того, что работа начнётся через несколько дней. Просто — впереди. Белград был одним числом. Родос был

одним предложением. Стамбул был чем-то другим, у чего нет одного числа и одного предложения. Слишком большой, слишком живой.

Вера достала трактат. Открыла последнюю страницу, ту, на которой было написано: «Родос. Январь 1522. Закончено». Достала перо.

Написала под этим:

«Константинополь / Стамбул. Февраль 1523. Началось».

Закрыла трактат. Положила на стол рядом с атласом.

За окном один из детей с улицы внизу закричал на другого — радостно, по-турецки, с тем ударением, которое она слышала уже два года и всё ещё не умела повторить. Потом засмеялся. Потом оба засмеялись.

Страница сто двенадцать для этого города не работает. Ладно. Значит — только настоящее.

* * *

Вечером, когда совсем стемнело и запах жареного теста с угла сменился запахом чего-то варёного — мясного, с пряностями — она думала о том, что знала и чего не знала.

Знала: хронологию. 1523 год — расцвет Сулеймана Великолепного. Его правление началось три года назад, в 1520-м, и сейчас он был в точке, когда всё ещё возможно и ничего ещё не потеряно. Белград взят в 1521-м — она была там. Родос взят в 1522-м — она была там. Дальше по хронологии: поход в Египет в 1524-м, Мохач в 1526-м, долгий период экспансии и блеска.

Знала: имена. Ибрагим-паша — великий визирь с этого года. Хюррем — хасеки, любимая жена. Двор, который был сложным и живым, не декорацией.

Не знала: деталей. Как именно устроен этот двор изнутри. Кто реально влияет, кто только кажется. Где границы, которые не прописаны ни в одном учебнике истории.

Это было нормально. В Смирне она тоже ничего не знала в первый день. В Белграде тоже. Знание приходит через жизнь внутри, не через чтение снаружи. Она это усвоила.

Только настоящее, подумала она. Это всё, что есть.

Город за окном жил своей ночной жизнью — неспящей, плотной. Это был Стамбул, конец февраля 1523 года. Она была здесь. Это было начало.

* * *

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Кемальдома

«Знать человека в одном месте — не значит знать его везде»

— Вера Соколова, тетрадь наблюдений. Март 1523 г.

* * *

Утром третьего дня в Стамбуле она вышла на рынок одна.

Не потому что забыла о правилах. Просто кончилось мыло — обычное, жирное, то, которое она сама варила ещё в Смирне из золы и животного жира по рецепту, который вычитала в первый год. Кемаль накануне потратил больше часа, объясняя ей про кварталы: кому кланяться при встрече, кому не смотреть в глаза, каких улиц избегать после полудня и почему переулочек у армянской церкви безопаснее, чем он выглядит, а площадь перед хамамом — опаснее. Про то, что в Стамбуле говорить поперёк старшего значит одно, а молчать в ответ — совсем другое, и эту разницу нужно чувствовать, а не вычислять. Она слушала внимательно, как всегда слушала правила чужого места — с тем профессиональным уважением к среде, которое выработалось за это время. А потом утром кончилось мыло, и она взяла монеты со стола и пошла.

Улица у дома была узкой — каменные стены с обеих сторон, между ними полоска неба, зимнего, серого. Жара, которую она ощутила в первый день — неожиданная, февральская, от камня, накопившего за летние месяцы тепло и теперь его отдающего, — схлынула. Стамбул в феврале всё-таки был Стамбулом в феврале: промозглый ветер с Золотого Рога, влажность, которая садилась на шерсть и не уходила, лужи в щелях между плитами — мелкие, тёмные, невидимые с трёх шагов.

На углу стояли двое мужчин. Они не разговаривали — просто стояли, как стоят люди, которым некуда спешить и есть причина смотреть. Один из них посмотрел на неё. Она посмотрела в ответ — секунду, не больше — и прошла.

Это было неправильно. Она поняла это через полшага — не умом, телом: что-то чуть напряглось в спине, как напрягается, когда делаешь движение, которое не нужно было делать. Кемаль говорил именно об этом: не смотреть. Смотреть — это вызов там, где ты не имеешь права на вызов. Не потому что ты слабее. Потому что это их пространство, их сигнальная система, и в ней взгляд незнакомой женщины в ответ на взгляд мужчины означает что-то конкретное — и не то, что она имела в виду.

Мужчина ничего не сделал. Просто смотрел вслед. Долго — дольше, чем нужно просто чтобы проводить взглядом.

Вера дошла до рынка, купила мыло — у правильного торговца, в правильном квартале, как Кемаль объяснил. Все это заняло четверть часа. Обратная дорога — не потому что боялась, а потому что это был хороший повод запомнить ещё один маршрут.

Кемаля она встретила на пороге дома торговца. Он стоял — не ждал, именно стоял, как стоят люди, которые только что пришли и ещё не успели войти. Смотрел на неё с тем выражением, которое она уже знала: не злость, не беспокойство. Что-то точнее обоих. Что-то, у чего не было одного слова на греческом.

— Где ты была, — сказал он. Не спросил.

— Ходила за мылом.

— Одна.

— Мыло кончилось.

— Я видел, как ты уходила.

Последнее было хуже первых трёх. Значит — он был где-то рядом, знал, и не остановил. Дал ей пойти. Смотрел. Это была проверка — не намеренная, скорее всего, просто ситуация сложилась так. Но результат проверки он видел.

Он помолчал секунду — ту самую паузу, которую она привыкла читать как «думаю, как сказать точно, чтобы ты услышала, а не обиделась».

— Ты права, — сказал он наконец. — Мыло нужно. Но здесь это не поможет.

— Что именно не поможет?

— То, что ты делаешь. Смотришь им в глаза.

Она хотела сказать: в Смирне тоже смотрела. В Смирне тебя не было рядом постоянно, и ничего не случилось. Но она сказала это только внутри — потому что Смирна была Смирной. Смирна была меньше и медленнее, и репутация там работала иначе: её знали в лицо через полгода, знали чья она, знали что Якоба, и это было защитой, которую она не строила, просто получила. Стамбул не знал её ни по какой цепочке — она была здесь три дня, и на улице она была просто незнакомая женщина без видимого сопровождения, и это, в системе правил этого города, означало конкретный статус, который она не выбирала, но который ей был присвоен автоматически.

Два года в этом мире научили её одному: разница между городами не в людях, а в плотности правил. Чем крупнее — тем плотнее. Стамбул был самым крупным.

— Хорошо, — сказала она. — Больше не буду смотреть.

— Хорошо, — повторил он.

Что-то в его лице немного отпустило — не расслабилось, именно отпустило, как отпускает узел, который держали из осторожности, а не из недоверия. Она это заметила и поняла: в Стамбуле он за неё боялся иначе. Не больше, чем на Родосе или в Белграде — там тоже боялся, она это видела по тому, как он двигался рядом с ней в опасных ситуациях: чуть ближе, чуть медленнее, с тем контролем периферийного зрения, который выдаёт человека, отслеживающего пространство. Просто там это был не его город. Белград был вражеским, Родос был осажденным, Смирна была знакомой территорией, но чужой. Стамбул был его. Здесь были его правила, и когда здесь что-то шло не так — это было его ошибкой тоже. Его недостаточным объяснением. Его недосмотром.

Она это приняла. Не потому что он был прав. Потому что это было честно — и потому что правила работали независимо от того, согласна ли она с ними.

* * *

Кемаль аль-Румели в Стамбуле был другим человеком.

Не другим — она поправила себя внутренне — другой стороной того же человека. Как монета: один металл, два лица. Он всегда был янычарским офицером, военным человеком с дворцовым прошлым — она знала это с первой встречи в Смирне, когда он пришёл как посланник визиря и читал Руми в ожидании аудиенции: человек, который читает поэзию перед официальным визитом, либо очень спокоен, либо очень опытен, либо и то, и другое. Оказалось — второе. В Смирне его военное происхождение было как фон: оно было в осанке, в том, как он входил в комнату — сначала осматривал, потом входил, — в том, как держал пространство вокруг себя, не агрессивно, просто с тем спокойным знанием, что место вокруг него принадлежит ему ровно настолько, насколько он решит. В Смирне это было одной из его черт. В Стамбуле — первой.

Она наблюдала за ним первые дни с тем вниманием, с каким наблюдают за незнакомым пациентом: не с тревогой, а с профессиональным интересом. Как он переключается. Не резко — плавно, как меняется свет на рассвете, когда не можешь поймать момент перехода, только вдруг замечаешь, что уже светло.

На рынке с ней — обычный. Говорил быстро, вполголоса, на смеси греческого и турецкого, объяснял что почём, кивал торговцам как кивают своим, иногда торговался с тем лени-

вым удовольствием человека, для которого торговля не обязанность, а разговор. В переулке у мечети — уже другой: чуть прямее, шаг медленнее, взгляд внимательнее — не настороженно, просто включённое. Внутренний двор дворца, куда он однажды взял её на короткую встречу с помощником Ибрагим-паши, — совсем другой: форма, расстояние, слова взвешены перед тем, как произнесены. Не одна пауза в ответах, а две — первая чтобы услышать, вторая чтобы решить что сказать.

Она тогда смотрела не на помощника паши — смотрела на Кемаля.

После встречи, когда они вышли за ворота и оказались на улице, он сказал:

— Ты смотрела на меня.

— Да.

— Зачем?

— Хотела понять, кто ты здесь.

Он подумал. Они шли вдоль стены, где никого не было — длинный пустой отрезок между воротами и поворотом, те несколько минут городского одиночества, которые в плотном Стамбуле случались только случайно.

— Тот же, — сказал он наконец.

— Знаю. Но не так.

Молчание. Потом:

— Да. Не так.

Это был первый разговор, в котором они назвали вслух то, что оба уже понимали несколько дней. Не конфликт — просто констатация. В Стамбуле им нужно было заново договориться о том, кто они друг для друга. Какая роль — рабочая, какая — нет. Какие разговоры — при людях, какие — нет. Не потому что что-то сломалось — ничего не сломалось, два года были двумя годами. Потому что контекст изменился, а с контекстом в этом мире менялось всё, что с ним было связано.

* * *

Правила, которые он ей объяснил за первую неделю, она записала. Не в трактат — в отдельную тетрадь, которую держала в мешке рядом с атласом. Тетрадь она завела ещё в Смирне для нерабочих наблюдений — тех, которые не были медициной, но которые влияли на то, как медицина работала в конкретном месте. Она называла это «среда» — в том смысле, в каком используют это слово биологи: то, внутри чего происходит всё остальное.

Первое: она не женщина-врач при дворе. Она иностранный специалист по инфекционным болезням армии — это формулировка Кемаля, точная и защищённая. «Врач» в Стамбуле 1523 года был мужчиной с образованием из Каира или Бухары, с разрешением от медицинской гильдии, с именем, которое произносили на определённый лад. «Специалист» — другое слово, у него другие рамки, другие ожидания и, главное, другой тип вопросов к нему. Никто не спрашивает специалиста откуда он взялся и кто его учил — спрашивают что он умеет и зачем он здесь. Первое она могла показать. Второе — объяснить.

Второе: её дом — у сефардского торговца Гадьяля, не у Кемаля и не при дворе. Это защита. Не потому что Кемаль плох или двор опасен — двор был ровно таким, каким она его ожидала по описаниям: сложным, слоистым, с правилами внутри правил. Просто расстояние — это пространство для манёвра, а в маленькой комнате манёвра нет. «Ты должна иметь куда уйти», — сказал Кемаль. «Дверь должна открываться в обе стороны» — это была уже её формулировка, которую она добавила внутренне, когда записывала.

Третье: она говорит по-гречески. В Стамбуле это не очевидность и не нейтральность — это выбор с последствиями. Греческий при дворе был языком определённого круга, определённых связей, определённой образованности. Ибрагим-паша был греком из Парги — это она знала, это Кемаль сказал ещё на причале. Говорить по-гречески с человеком, который думает

по-гречески, — это не просто лингвистический выбор. «Это твой путь», — сказал Кемаль. «Не прячь его».

Четвёртое она добавила сама, без его инструкций: наблюдать. Просто — наблюдать. Не делать выводов раньше, чем накопится материал. Стамбул был слишком сложным для первых впечатлений — каждый первый вывод здесь, она чувствовала, был бы неполным. Сначала наблюдать. Потом записывать. Потом думать. Это был её метод в медицине, и она решила, что он работает везде.

* * *

На четвертый день её пришёл первый пациент.

Не пришёл — прислали. Гадьяль постучал в дверь её комнаты вечером, когда она раскладывала вещи в том порядке, в котором работала: трактат слева, атлас справа, тетрадь для наблюдений отдельно, инструменты ближе к краю стола. Порядок был выработан ещё в Смирне и не менялся — не из суеверия, из эргономики: в темноте или в спешке рука должна найти нужное без взгляда.

Гадьяль сказал по-ладино: «Женщина снизу. Говорит, слышала что лекарь приехал».

— Откуда слышала?

— Рынок, — сказал он, с тем выражением, с которым опытные торговцы говорят об очевидных вещах. — Рынок знает всё.

Женщина звалась Эсфирь — молодая, не старше двадцати пяти, из той же сефардской общины. Беременная, на большом сроке — это было видно сразу. Но не это привело её сюда вечером, Вера это поняла раньше, чем та открыла рот: на её лице было беспокойство, а не боль. Беспокойство и боль похожи по форме — оба делают лицо напряжённым, оба сдерживают дыхание. Но боль смотрит внутрь, в точку, где болит. Беспокойство смотрит вперёд, в то, что может случиться.

— Сядь, — сказала Вера. — Рассказывай.

Эсфирь говорила долго и не по порядку — как говорят люди, которые несколько дней держали что-то в себе и теперь, получив разрешение говорить, выпускают всё сразу. Вера слушала и отбирала: отёки на ногах к вечеру — да, неделю как минимум, по линии на коже видно. Одышка при подъёме по лестнице — новая, не было раньше. Тяжесть под рёбрами справа. Голова иногда плывёт, если встать резко.

Это был поздний срок с классическими признаками задержки жидкости — неопасно само по себе, если следить, опасно если игнорировать. Вера провела осмотр — методично, с объяснением каждого шага вслух, не потому что это было обязательно, а потому что давно поняла: пациент, который понимает что происходит, перестаёт бояться и начинает сотрудничать. «Сейчас я проверяю отёк — нажимаю пальцем и смотрю как возвращается. Вот, видишь — медленно. Это означает...» Эсфирь смотрела, слушала, кивала.

Вера написала рекомендации на листе — по-гречески и по-ладино рядом, двумя колонками, потому что не знала, что Эсфирь читает лучше. Меньше соли. Ноги выше уровня бедра когда лежишь. Пить воду — да, несмотря на отёки, и вот почему. Не подниматься быстро. Прийти через три дня.

Эсфирь взяла лист, посмотрела на него, сложила аккуратно.

— Ты лечила на Родосе, — сказала она. — Моя тётка была там в прошлом году. Она говорила про лекаря из Смирны.

— Как её звали?

— Другая линия семьи. Ты её не знаешь, наверное.

Вера кивнула. Рынок знает — Гадьяль был точен. Слух о лекаре из Белграда и Родоса шёл через торговые сети быстрее, чем письма, и приходил именно в таком виде — не как факт, а как цепочка имён. Кто-то сказал кому-то, тот передал дальше, и в итоге Эсфирь пришла не потому что прочитала рекомендацию, а потому что её тётка слышала от кого-то, кто видел что-то на

Родосе. Это была репутация — не та, которую строят намеренно, а та, которая складывается из каждого конкретного пациента и того, что с ним было сделано. Первое доверие в чужом городе приходит не из документов, а из цепочки имён.

На следующий день пришли две подруги Эсфири — с разными жалобами, но с одинаковой первой фразой: «Эсфирь сказала». На следующей неделе — ещё трое. Медицина в Стамбуле начиналась так же, как в Смирне, как на Родосе, как, наверное, везде, во все времена: с одного человека, который пришёл, и с того, что с ним было сделано правильно.

* * *

На двенадцатый день пришёл серьёзный случай.

Гадьяль постучал ещё до рассвета — в то время, которое не бывает случайным. Полная темнота, только где-то за окном первые петухи спорили о том, наступило ли утро. Ночной стук означал либо рождение, либо смерть, либо то, что между ними. Вера оделась за две минуты — это тоже был выработанный навык: одежда с вечера не складывалась, а раскладывалась в том порядке, в котором надевается. Взяла мешок.

Мужчина лежал на втором этаже соседнего дома — немолодой, лет пятидесяти, с тем серым лицом, которое бывает, когда тело давно тратит все силы на одно и на остальное уже не хватает. Дыхание она услышала с порога: хрипящее, неровное, с долгим свистом на выдохе — как будто каждый вдох был отдельной задачей, которую нужно было решать заново. Его жена стояла у стены и держала руки сложенными — не в молитве, просто держала, потому что деть их было некуда, а делать нечего.

Вера присела рядом. Потрогала лоб — горячий, но не обжигающий, не тот жар, который убивает сам по себе. Осмотрела горло, поднеся к нему масляный фонарь: красное, воспалённое, с белыми налётами по бокам — не дифтерия, другой рисунок, не плёнчатый а островковый. Послушала грудь через сложенную в несколько слоёв ткань — хрипы были, но не в глубине, не там, где воспаляются лёгкие. Выше. Трахея и верхние бронхи. Обструкция.

— Как давно? — спросила она жену. Не вопросительно — констатирующе, как спрашивают когда уже знают примерный ответ и проверяют.

— Три дня так. До этого — горло болело, думали простуда.

— Он ел сегодня?

— Немного. Отказывается.

— Пил?

— Трудно глотать.

Три дня — значит разгар. В этой точке болезнь либо ломается, либо нет, и промежуток был коротким. Оба варианта зависели сейчас от одного: сохранить проходимость дыхания.

Она работала час — спокойно, методично, без лишних слов, только необходимые команды жене: принести горячей воды, найти чистую тряпку, поднять изголовье кровати как можно выше. Последнее было главным: при такой обструкции горизонтальное положение ухудшает дренаж, слизь стекает вниз и дополнительно перекрывает проход. Приподнятый верх — это был не народный метод, это была механика дыхания, которую она понимала. Это было в трактате — глава о болезнях верхних путей, написанная в Смирне после первой зимы, когда она видела несколько похожих случаев и записала что работало, а что нет. Теперь применяла. Трактат всегда был прикладным.

Мёд с горячей водой — не лечение, но смягчение, которое делало каждый вдох чуть менее болезненным. Пар над миской с кипятком — увлажнение, которое немного снимало отёк слизистой. Всё это было паллиативом, а не решением: решением было время и иммунитет пациента. Но паллиатив в такой ситуации — это разница между тем, выдержит ли человек, пока болезнь не пройдёт сама.

К рассвету дыхание стало чуть ровнее. Не выздоровление — просто первый шаг назад от края.

— Приду завтра, — сказала она жене на пороге.

Та кивнула. Потом:

— Сколько это стоит?

Вера посмотрела на неё. Немолодая женщина, хорошая одежда, но не богатая — хорошая в том смысле, что аккуратная, без прорех, не новая. Ночь не спала. Руки всё ещё держали друг друга.

— Потом, — сказала Вера. — Сначала посмотрим, как он будет завтра.

Это было правило, которое она выработала сама — не из благородства, из логики. Пациент, который заплатил, считает что дело закрыто: деньги отданы, обязательство выполнено, теперь пусть лекарь делает. Пациент, который ещё должен, — следит. Пьёт лекарство. Зовёт на следующий день. Сообщает об изменениях. Долг — это форма продолжения лечения, особенно в тех случаях, где критически важно наблюдение в динамике.

Кемаль, которому она рассказала об этом несколько дней спустя, молчал достаточно долго, чтобы она поняла: он думает, а не просто слушает.

— Это умно, — сказал он наконец.

— Просто наблюдение.

— Умные вещи всегда «просто наблюдение», — сказал он. — Задним числом.

Она подумала. — Возможно.

* * *

На третьей неделе она начала учить дворцовый турецкий.

Рыночный у неё уже был — два года в Смирне, Белград, Родос, торговые кварталы, обозные переводчики, греки с турецкими именами и турки с греческими. Достаточно чтобы купить, объяснить куда идти, понять когда тебе угрожают и когда торгуются. Но дворцовый турецкий был другим языком, только похожим по звуку. Кемаль объяснил это в первый день, без лишних слов: «Рыночный — инструмент. Дворцовый — знак». Знак образованности, принадлежности к определённой среде. Знак того, что человек понимает, в какой среде находится, и уважает её.

Она начала с чтения — у Гадьяля нашлась небольшая административная рукопись, торговый реестр с официальными формулировками. Скучная, именно поэтому полезная: канцелярский язык нормативен по определению, в нём нет диалектных вариантов и личных стилей, только правильный образец. Читала медленно, по слогам, делала пометки. Это было неприятно — она привыкла к быстрому освоению, к тому ощущению когда язык начинает открываться изнутри, как открывается замок, когда нашёл нужный ключ. Турецкий не открывался. Он был другим деревом — другие корни, другая грамматика, агглютинация вместо флексии, и половины знакомых медицинских корней, которые помогали с греческим и арабским, здесь не было.

Кемаль, когда она пожаловалась на это — один раз, коротко, без просьбы о помощи, просто констатируя — сказал: «Я учил арабский пятнадцать лет. До сих пор не могу думать на нём».

Это было неожиданно. Не то что он учил арабский — это следовало из его образования и дворцовой службы. Неожиданным было «не могу думать на нём». Она не знала этого. За все это время — не знала. Или не замечала, что знала.

— На каком языке ты думаешь? — спросила она. Не сразу, через паузу.

— Смотря о чём. О работе — на турецком. Считаю тоже на турецком. О стихах — на греческом.

Она ждала. Он не продолжил сам — он никогда не продолжал сам, если не был уверен что продолжение нужно. Она спросила:

— А обо мне?

Пауза. Не та, которая означала «думаю как ответить правильно». Другая — та, которая означает «уже знаю ответ и решаю, говорить ли его».

— На греческом, — сказал он наконец.

Она кивнула и вернулась к рукописи. Он вернулся к Руми, который лежал открытым на странице, которую он, наверное, знал наизусть — потёртость по краю говорила о многих прочтениях именно этого места. Они не говорили больше до темноты. Тишина была рабочей — плотной, своей.

Потом она ещё долго думала об этом — не о том, что он сказал, а о том, что это означало как факт: человек, который думает о тебе на языке своего детства, думает о тебе иначе, чем на языке работы. Первый язык — это не то, что знаешь. Это то, чем думаешь, когда не выбираешь.

* * *

В конце третьей недели был вечер, которого она не планировала.

Кемаль пришёл без предупреждения — что само по себе не было странным, он приходил когда было время, и она давно привыкла к тому, что его появление не имело расписания. Гадьяль открыл без вопросов. Вера была за трактатом — перечитывала родосские главы, нашла три формулировки, которые требовали правки: слишком личные для руководства, слишком «я» там, где должно быть «практик» или «лекарь».

Кемаль сел на табурет у окна. Достал из-за пояса книгу — небольшую, потёртую, с мягким переплётом в нескольких местах перевязанным бечёвкой. Руми — тот самый, она видела его ещё в Смирне, ещё в самый первый раз. Открыл где-то в середине. Стал читать — молча, только иногда переворачивал страницу.

Она писала. Он читал. Так прошёл час — может быть больше, она не следила. Это был первый вечер в Стамбуле, когда она не думала о том, что нужно сделать и кому нужно ответить. Просто писала.

Потом она дочитала страницу, отложила перо и сказала — не к нему специально, просто вслух:

— Ты думал о том, что будет потом, когда был здесь раньше? Не в этой командировке — вообще.

Он не удивился вопросу. Закрыв книгу, не заложив страницу — значит, знал наизусть.

— Да. Всегда думал.

— И что там?

— Смотря когда. В разное время — разное.

— Сейчас?

Пауза — длиннее обычной. Окно было тёмным, только отблеск масляной лампы на стекле.

— Ты думала о том, что будет потом? Там, на Родосе.

Она поняла, что он переадресовал вопрос — не чтобы уйти от ответа, а чтобы ответить вместе, не первым. Это тоже был его способ.

— Нет. — Она помолчала. — Там было слишком много настоящего. Каждый день был полным. Некуда было класть «потом».

— А здесь?

— Здесь по-другому. Здесь есть промежутки. — Она посмотрела на трактат. — Сижу вот и исправляю то, что написала в прошлом году.

Он кивнул. Понял — она видела по тому, как он слушал: всем вниманием, без заготовленного ответа.

— Тогда что там, — спросил он. — В твоём потом.

Она ответила честно — потому что они давно говорили честно, это было установлено без договора, просто сложилось так за два года, где каждое уклонение стоило дороже правды:

— Смирна. Трактат дописать — до состояния когда он работает без меня рядом, когда его можно дать человеку и он разберётся сам. Понять что будет с делом Якоба когда он станет совсем старым. Димитрис — он молодой, но быстро учится. Она помолчала. — И понять что я буду делать, когда не нужно будет выживать или действовать. Просто жить. Я ещё не очень умею просто жить.

— Я не про трактат, — сказал он.

Она посмотрела на него. Он смотрел прямо — с тем спокойствием, которое не было равнодушием, а было готовностью принять ответ каким бы он ни был.

— Я знаю про что ты.

— Тогда?

— Смирна, — сказала она. — Там и посмотрим.

Это не было «может быть». И не было «нет». Он понял — она видела, как что-то изменилось в его лице, не снаружи, внутри: что-то сложилось туда, где держат вещи, которые приняты.

— Я тоже думаю о потом, — сказал он.

— Я знаю. — Она немного подождала. — И что там?

— Смирна, — сказал он.

Он открыл Руми снова. Она взяла перо. Они помолчали до темноты — уже другим молчанием, чем в начале вечера: не рабочим и не пустым. Тем, у которого нет специального названия, но которое оба узнавали.

* * *

Гадьяль Алеви был молчаливым человеком — в том точном смысле, что не говорил лишнего. Якоб в Смирне был немногословным из принципа — сознательного, выбранного. Гадьяль молчал из природы: слова были для него инструментом, а не способом существования. Когда инструмент нужен — используешь. Когда нет — кладёшь обратно.

Ему было около шестидесяти, если Вера правильно читала возраст по рукам и по тому, как человек поднимается по лестнице — не медленно, но с тем расчётом усилий, который появляется после пятидесяти. Торговал тканями — не на рынке, у него был круг постоянных покупателей, которые сами приходили, иногда из других кварталов. Жена умерла давно — давно в том смысле, что он уже не упоминал её случайно, только когда спрашивали. Дети — в Салониках, письма раз в месяц. Дом держал чистым и тихим, что для торгового дома при порту было редкостью и, по всей видимости, требовало усилий.

Вера платила ему за комнату честно и вовремя. Гадьяль со своей стороны не требовал ничего сверх — только вовремя закрытую дверь, уважение к его распорядку завтраков, и однажды за ужином — это было на четвёртый день, без предисловия:

— Если придут и спросят кто живёт — я скажу: снимает комнату, иностранка, по торговому делу. Больше ничего. Это всё что я знаю.

— Хорошо.

— Если будут настаивать — скажу то же самое, потому что это правда. Больше мне знать не нужно.

— Я понимаю.

— Хорошо, — повторил он, с тем окончательным тоном, который означал: договорились, тему закрываем.

Это было единственное, что он сказал ей напрямую за весь первый месяц — всё остальное было через действие: открытая вовремя дверь, горячая вода утром которую он ставил у лестницы, однажды — лишняя свеча у порога её комнаты в тот день когда было пасмурно.

Она узнала позже — от Кемаля — что Гадьяль принимал таких жильцов раньше. Двое или трое за двадцать лет: людей, которым нужна была комната без вопросов и выход который не замечают. Некоторые уходили быстро. Некоторые жили долго. Ни у кого из них он не спрашивал зачем. Это была его форма гражданского поступка — не декларируемая, не требующая

благодарности, просто существующая как часть того, кем он был. Вера не говорила ему спасибо специально. Она думала, что он оценил бы это отсутствие.

* * *

К концу первого месяца она знала квартал.

Не весь Стамбул — за месяц это было бы невозможно даже при желании. Стамбул в 1523 году был городом с населением в несколько сотен тысяч человек — больше Лондона, больше Парижа, больше любого города, который она знала по имени. Это не был город, который можно охватить за месяц. Но свой квартал она знала — через те маленькие детали, которые становятся знанием постепенно, незаметно, через повторение: где пекарня открывается раньше всех и хлеб ещё горячий, где колодец с хорошей водой, а где вода с запахом — это важно, вода в большом городе могла нести болезни, она за этим следила. Какой переулочек безопаснее обходить после темноты — не потому что там плохие люди, а потому что темно и брусчатка неровная, и если упасть с мешком, то встать труднее. Где живёт сапожник, у которого болит спина, — он говорил с ней по-гречески каждый раз, как она проходила мимо, с видом человека, для которого это маленькое ежедневное событие. Где стоят те двое с угла — она наконец поняла что они информационные торговцы: знали всё про всех в квартале, и это знание стоило денег, и они брали деньги честно, без принуждения.

Первые десять дней она спала плохо — не из-за тревоги, просто город не давал. Слишком шумный, даже ночью. Смирна тоже не молчала — порт, рынок, собаки, которые лаяли по расписанию, которое она через год начала угадывать. Но это был знакомый шум, свой. Стамбул был чужим шумом: минареты в разное время и не все одновременно, потому что мечетей было много и каждая жила своим ритмом; крики с воды — Золотой Рог не засыпал; лошади на ночных улицах, чьи подковы по камню звучали по-другому чем по брусчатке в Смирне. И однажды — что-то металлическое, долгое, неопознанное, то ли с верфи, то ли откуда-то ещё, она так и не поняла.

Она не спала и слушала. Это тоже было наблюдение.

На одиннадцатый день начала засыпать.

Это был, если она правильно понимала себя, признак адаптации — не принятия, а именно адаптации: когда нервная система перестаёт отмечать как сигнал то, что повторяется без последствий. Город перестал быть угрозой и начал быть фоном. Не домом — место не становится домом за одиннадцать дней. Но первый шаг. Смирна стала домом за полгода. Родос — никогда, она жила там как на задании, с пониманием что задание закончится. Стамбул — посмотрим.

Она написала в личную тетрадь — не в трактат, в личную, которую никому не показывала: «11 день. Первый раз спала до рассвета». Это была медицинская запись. Собственное состояние — тоже данные, и данные честные, потому что тело не притворяется.

* * *

Час утром она держала — с первого дня, как пообещала себе.

Не всегда получалось ровно час: иногда было двадцать минут, потому что ночной вызов съел ночь, а пациенты с утра не ждали. Иногда — два часа, если наблюдение было важным и нужно было дописать пока свежо. Но час — это был минимум, и в те дни, когда минимума не выходило, она записывала хотя бы одно предложение. Иногда одно предложение было точнее страницы.

Первая стамбульская запись в трактат была методологической. Не клинический случай и не рецепт — наблюдение более общего порядка: «О разнице городской и полевой эпидемиологии. Предварительные мысли».

В полевых условиях — Белград, Родос — болезни шли вспышками, и их было легче отслеживать: начало было видно, конец был виден, и причина чаще всего была одна — скученность в конкретном месте, конкретный источник воды или пищи. Это была острая эпидемио-

логия — как острая боль, которую нельзя не заметить. Город был другим. Болезни здесь были хроническими и разнородными: одни кварталы болели одним, другие другим, и это не было случайностью — это было следствием плотности населения, качества воды, близости к порту и к навозным ямам, типа строительства. Стресс в городе был не острым военным, а тихим, повседневным — не убивает сразу, но ослабляет постепенно, и ослабленный человек болеет иначе, чем здоровый.

Ей нужна была статистика. Настоящая, систематическая, с записями в единой форме. Не восемнадцать случаев за месяц — год. Два. С разбивкой по кварталам, по сезонам, по возрасту пациентов, по исходам. Это было невозможно сделать в одиночку за разумное время, но это было совершенно необходимо, и она ещё не знала как примирить эти два факта.

Она написала заглавие. Написала первый абзац. Остановилась.

Это займёт годы, подумала она. Ладно. Значит — начать сейчас и делать каждый день по чуть-чуть.

Это был не новый принцип. Это был единственный принцип, который она знала, — потому что он был единственным, который работал.

* * *

В последний день первого месяца она вышла без цели.

Это тоже было новым — в Белграде и на Родосе она не выходила без цели. Там каждый выход был функциональным: за чем-то, куда-то. Здесь, в Стамбуле, к концу первого месяца она поняла, что функциональность становилась её ловушкой: она видела только то, что нужно было видеть для дела, и пропускала всё остальное. А всё остальное, судя по тому, как работал этот город, было не менее важным.

Она прошла до Золотого Рога и встала у воды.

Зимнее море — серое, плотное, с длинными медленными волнами, которые не были волнами прибой, а были движением большой воды, живущей своей жизнью. По Золотому Рогу шли суда — торговые, рыбацкие, одно большое, явно груженное: сидело в воде низко, с ватерлинией почти у самого борта. На другом берегу — Галата, генуэзская башня торчала над крышами темнее и выше всего остального. За ней, если смотреть вправо, — азиатский берег, Ускюдар, почти невидимый в дымке.

Два берега. Между ними — вода. Между ними — она.

Константин Великий поставил здесь столицу в 330 году — потому что это была лучшая стратегическая точка в регионе: кто держит Босфор, держит торговлю между Чёрным морем и Средиземным, между севером и югом, между Европой и Азией. Это было чистой геополитической логикой, которая работала одинаково в любую эпоху. Потом — тысяча лет Византии. Потом Мехмед Второй, 1453-й, сорок дней осады, штурм, падение, которое она знала по строчкам в учебнике и которое для жителей этого города произошло семьдесят лет назад — живая история, не страница, не иллюстрация.

Стамбул нёс в себе всё это одновременно. Греческий фундамент в буквальном смысле — под мечетями были церкви, под церквями были языческие храмы, и всё это лежало слоями, как лежит земля, где каждый слой был чьей-то настоящей жизнью. Никакого противоречия — просто последовательность. Человеческая история как геология.

Я приехала из одного слоя в другой, подумала она, глядя на воду. Из слоя который ещё не случился — в слой, который живёт прямо сейчас. Вокруг неё рожали и умирали, торговали и воровали, молились и ругались, болели трахеитом и беспокоились за беременность — всё это происходило в этом конкретном марте 1523 года, пока она стояла у Золотого Рога и смотрела на азиатский берег. Это не было учебником. Это было настоящим.

Трактат надо дописать здесь. Это было понятно с самого начала, но сейчас стало чуть яснее — почему именно здесь, а не где-то ещё. Потому что здесь всё то, о чём она писала, происходит каждый день в самом концентрированном виде из всего, что она видела. Болезни,

скученность, разные культуры в одном пространстве, разные практики рядом. Материала — на несколько книг.

Она постояла ещё немного. Потом повернулась и пошла домой — к трактату, к тетради, к Гадьялеву дому с его тихим распорядком и свечой у порога.

Первый месяц позади. Второй начинается.

Она знала, что это не точная фраза — месяц начинается сам по себе, независимо от того, говоришь ты об этом или нет. Но ей нужно было это сказать — внутренне, как говорят итог. Как ставят точку в конце абзаца, не потому что мысль закончилась, а потому что этот её отрезок — закончился.

* * *

ГЛАВА ВТОРАЯ

Трактат читают

«Написанное слово живёт своей жизнью»

— *Вера Соколова, тетрадь наблюдений. Март 1523 г.*

* * *

История началась в Смирне, в тот день, когда Димитрис решил скопировать трактат.

Она узнала об этом позже — через Кемаля, через осторожные слои дворцовой информации, которая в Стамбуле никогда не ходила прямым путём. Но в конце концов, узнала достаточно, чтобы восстановить цепочку. И когда восстановила, долго сидела с этим знанием — не с тревогой и не с облегчением, а с тем специфическим ощущением, которое бывает, когда видишь механизм, который работал сам по себе, без твоего участия, и привёл туда, куда ты, возможно, не решилась бы направить его намеренно.

Димитрис копировал для учёбы. Это была его привычка — переписывать то, что считал важным, своей рукой, потому что рука запоминает иначе, чем глаз. Якоб это знал и терпел: мальчик тратил бумагу, зато помнил. Первую часть трактата — ту, которую Вера написала ещё в Смирне, до Родоса, когда всё это были только наблюдения за тем, как болезнь переходит от человека к человеку через воду и воздух и руки — Димитрис переписал аккуратно, почерком лучше, чем у неё самой, со своими пометками на полях. Синими чернилами, отдельным цветом от основного текста, чтобы не путать. Его пометки были вопросами: почему именно уксус, а не вино; здесь ты пишешь всегда, но в третьем случае из пяти это не работало — как объяснить; можно ли применить этот метод к ранам на животе

Хорошие вопросы. Она ответила бы на каждый — если бы знала, что копия существует.

Но Димитрис не сказал ей. Не потому что хотел скрыть — просто не подумал. Ему было тринадцать, и то, что он делал, казалось ему частным делом, учёбой, никак не затрагивавшей никого кроме него.

Александрийский торговец появился в Смирне в конце зимы — обычный визит, ткани и специи, ничего необычного. Торговца звали Халиль аль-Хаммад, и у него была дополнительная торговля, о которой не говорили громко: редкие рукописи, образцы почерка, любопытные тексты, которые богатые коллекционеры в Каире и Александрии покупали не потому что понимали написанное, а потому что греческая рукопись на полке говорила кое-что о хозяине полки. Хаммад понимал это и работал на этом понимании.

Он увидел копию случайно — она лежала на столе у Костуса, старшего подмастерья Якоба, который взял её у Димитриса «посмотреть» и забыл вернуть. Хаммад спросил. Костус ответил, что это медицинский текст на греческом. Хаммад попросил взглянуть. Костус дал — он не видел причин отказывать, это была учебная копия мальчика, не оригинал и не чья-то собственность в его понимании.

Хаммад прочитал первые страницы. Греческий у него был торговый, достаточный для чтения, хотя и не беглый. Он понял не всё, но понял достаточно: это был медицинский текст необычного содержания, написанный с позиции, которая не совпадала ни с Галеном, ни с Ибн Синою. Что-то другое. Что-то, что его коллекционеры называли бы «образцом греческой медицинской мысли нового направления» — и заплатили бы за это.

— Продай, — сказал он Костусу.

Костус подумал. Текст был не его. Якоб, возможно, не одобрил бы. Но Якоба не было рядом, сумма была небольшой, но конкретной, и в конечном счёте это была учебная копия мальчика, не оригинал. Костус продал.

Вера узнала об этом многим позже, после того, как копия уже была в Стамбуле. К тому времени что-либо делать в Смирне было поздно.

* * *

Из Смирны в Александрию — на торговом судне, в тюке с прочими приобретениями Хаммада, среди образцов тканей и двух персидских рукописей сомнительной подлинности. Александрия приняла её без торжества: одна из многих рукописей в лавке, которая стояла в портовом квартале между меняльной конторой и складом пряностей. Хаммад выставил её с пометкой «греческая медицина, новая школа» и запросил умеренную цену.

В Александрии она пролежала несколько месяцев.

Купил её египетский чиновник, который искал подарок для своего покровителя в Стамбуле — человека из ближнего круга Ибрагим-паши. Чиновник не был медиком и не читал по-гречески, но понимал, что образованные люди ценят редкие тексты, и цена была умеренной, и греческая рукопись казалась достаточно экзотичной для подарка. Он купил.

Из Александрии в Стамбул — уже не в тюке, а в кожаной сумке как подарочный предмет. Чиновник вручил её своему покровителю при встрече. Покровитель взглянул, поблагодарил, убрал на полку. Пролежала ещё несколько месяцев.

Потом покровитель отдал её в малую библиотеку Ибрагим-паши — не как важный документ, а как часть периодического пополнения коллекции: всё, что казалось достойным внимания, передавалось туда без специального повода. Библиотекарь принял, каталогизировал — «греческий текст, медицинский, неизвестный автор» — и поставил на полку.

Там её нашёл сам Ибрагим-паша.

Он читал библиотечные поступления регулярно — не все, но выборочно, по заглавиям и первым страницам. Греческий медицинский текст неизвестного автора он взял в руки потому что был греком из Парги и читал на своём первом языке так же охотно, как на турецком. Открыл первую страницу. Потом вторую. Потом третью.

На четвёртой — достал карандаш.

* * *

Кемаль узнал об этом так, как узнавал дворцовую информацию — через слои, через посредников, через осторожные разговоры в нужных местах.

Он не был в ближнем кругу Ибрагим-паши — янычарский офицер был ближним кругом Сулеймана, не визирия, и иерархия здесь была строгой. Но у него были свои пересечения, свои люди в разных точках дворцового пространства, и эти люди иногда говорили — не по заданию и не за деньги, а потому что информация в Стамбуле была разменной монетой, которую давали, когда хотели получить что-то обратно. Кемаль умел давать ровно столько, чтобы получать в ответ ровно столько, сколько нужно.

— Паша читал греческий медицинский текст, — сказал ему один из этих людей, мимоходом, в нейтральном месте. — Неизвестный автор. Сделал пометки.

— Сколько?

— Двенадцать. Я видел лист.

Кемаль поблагодарил и ушёл. Цена этой информации была мелкой — одна ответная фраза про движение одного из янычарских отрядов, ничего секретного, только то, что уже было известно в нескольких местах. Обмен был честным.

Одну пометку он видел сам — не всю страницу, только краем, когда оказался в библиотеке по другому поводу и паша разговаривал с библиотекарем, держа текст открытым. Четыре слова на полях, карандашом, по-гречески: «Это объясняет 1521 год».

1521 год. Кемаль помнил 1521 год. Белградский поход, армия Сулеймана, тридцать тысяч человек на марше через Балканы. И болезнь, которая прошла через несколько батальонов в июле — быстрая, с высокой температурой и диареей, от которой умерла треть заражённых за

десять дней. Не от ран — от болезни. Это было нехорошее воспоминание. Паша командовал тогда частью армии. Он помнил.

Четыре слова на полях рукописи. Это объясняет 1521 год.

Кемаль вышел из библиотеки и сразу пошёл к Гадьялевому дому.

* * *

Она была за трактатом — утренний час, который держала каждый день. Кемаль постучал два раза — их сигнал, выработанный в первую же неделю. Гадьяль открыл, кивнул, ушёл вниз. Кемаль поднялся.

Он не начал сразу. Сел. Посмотрел на неё. Она подняла взгляд от страницы, увидела его лицо — не тревожное, но сосредоточенное особым образом, тем, который она научилась читать как «важное».

— Расскажи, — сказала она.

Он рассказал. Медленно, с паузами — не потому что колебался, а потому что выбирал слова. Копия. Библиотека. Ибрагим-паша. Двенадцать пометок. Четыре слова, которые он видел сам.

Вера слушала не перебивая. Когда он закончил, она встала, подошла к окну — к тому, которое выходило во внутренний двор с соседскими бельевыми верёвками. Рубашки на весеннем ветру. Голуби. Обычный вторник.

— Это копия первой части, — сказала она. — Не вся.

— Да. Первые тридцать страниц, насколько я понял.

— Там нет самого важного. Самое важное — в родосских главах.

— Но там достаточно, чтобы заинтересоваться.

Она повернулась. Кемаль смотрел на неё — ровно, без подсказки что думать. Это был его метод в важных разговорах: дать ей сформулировать самой, не вести.

— Это опасность, — сказала она.

— Да.

— И возможность.

— Да.

— Ты не бежишь, — сказал он, после паузы. Это не было вопросом.

— Нет.

Он кивнул. Что-то в нём чуть отпустило — она видела это по плечам, по тому, как он сидел. Он ожидал разных ответов. Этот его устроил.

— Хорошо, — сказал он.

Они помолчали. За окном голуби переместились с верёвки на крышу. Вера смотрела на них и думала.

Ибрагим-паша Паргалы. Великий визирь с этого года — именно с 1523-го, она помнила это из тех строчек, которые знала. Самый молодой великий визирь в истории Порты. Умный — это было задокументировано, это говорили все источники. Грек по происхождению. Читает медицинские тексты с карандашом.

И делает двенадцать пометок на тридцати страницах.

Двенадцать пометок на тридцати страницах — это не любительский интерес коллекционера. Это серьёзное чтение. Это человек, который понял, что в тексте есть что-то важное, и хочет понять это точнее.

— Мне нужно знать, что именно он отметил, — сказала она.

— Я знаю только одну пометку. Остальные — нет.

— Тогда мне нужно видеть текст самой.

Кемаль посмотрел на неё.

— Ты понимаешь, что это означает, — сказал он. Это был не вопрос.

— Что мне придётся встретиться с ним. Да. — Она вернулась к столу. — Но не прямо сейчас. Сначала мне нужно понять, что он читал и что он думает о прочитанном. Это разные вещи.

— Хорошо. — Он встал. — Я постараюсь осторожно.

— Ты всегда осторожен.

— В Стамбуле — особенно.

* * *

В тот же день она написала Якобу.

Это было первое письмо, которое она писала несколько раз подряд — начинала, останавливалась, перечёркивала. Не потому что не знала что сказать, а потому что не могла решить, сколько сказать. Якоб был умным человеком, но он был в Смирне, а не здесь, и расстояние делало любую информацию устаревшей к моменту прочтения. Написать слишком много — значит дать ему поводы для действий, которые она не может контролировать отсюда. Написать слишком мало — значит оставить его без нужного.

Она остановилась на среднем.

«Якоб. Трактат прочли в Стамбуле. Не спрашивай как — это долго объяснять, и к моменту, когда письмо дойдёт, уже неважно. Важно: его прочли в нужном месте. Это опасность и возможность одновременно. Пока жди. Если случится плохое — узнаешь от других быстрее, чем от меня. Если хорошее — напишу подробно. Работаю. — В.»

Она перечитала. Достаточно. Не слишком много. Не слишком мало.

Запечатала. Отдала Гадьялю — у него был человек, который раз в неделю возил товар в Смирну. Надёжный путь, медленный, но надёжный. Письмо дойдёт через три недели.

Якоб получил письмо и три дня молчал. Это Вера узнала потом — через Рахель, которая рассказала при встрече несколько месяцев спустя. Три дня молчал — значит, думал. Потом написал Кемалю. Одно слово, на греческом: «Смотри».

Кемаль получил это слово через свои каналы раньше, чем Вера услышала об ответе. Он не сказал ей сразу — только потом, когда уже прояснилось. «Якоб написал одно слово». — «Какое?» — «Смотри». Она подумала. «Он имел в виду тебя или меня?» — Кемаль чуть улыбнулся — редко с ним случавшееся, она каждый раз замечала. «Обоих, думаю».

* * *

Следующие две недели она занималась медициной — своими пациентами, своим кварталом, своим трактатом — и ждала.

Ждать было привычным. На Родосе она ждала осаду — знала дату и ждала, занимаясь тем, что можно было делать до неё. Здесь ждала другого, менее конкретного: как разыграется ситуация с трактатом, который уже существовал в руках человека, которого она ещё не встречала. Это было неприятно по-другому, чем осада — у осады было расписание, у этого расписания не было.

Через две недели Кемаль принёс больше.

Он нашёл человека, который видел все двенадцать пометок — не прочитал все, но видел страницы. Это стоило больше, чем первая информация, и Кемаль отдал за это что-то конкретное — что именно, она не спросила, он не сказал. Дворцовые обмены были его областью, не её.

— Восемь пометок — технические, — сказал он. — Вопросы к методу. Три — про армию.

— «Это объясняет 1521 год» — одна из трёх?

— Да. Вторая — про правила карантина в лагере. Третья — он написал имя. Своего главного армейского лекаря. Видимо, хочет ему показать.

Вера слушала и складывала в голове.

Восемь технических пометок — значит, он читал как специалист, не как любопытный. Он знает медицину достаточно, чтобы задавать правильные вопросы. Три пометки про армию

— значит, его интерес прикладной: не коллекционный, не теоретический. Он думает о применении. Имя армейского лекаря — значит, он уже думает о следующем шаге.

— Двенадцатая пометка, — сказала она. — Ты не назвал двенадцатую.

Кемаль чуть помолчал — та короткая пауза, которая означала «сейчас скажу что-то, что изменит разговор».

— Двенадцатая — в конце последней страницы. Он написал вопрос. Мой источник успел прочитать только первые три слова по-гречески.

— Какие три слова?

— Кто написал это.

Тишина. За окном — привычные звуки квартала, привычные голуби, привычный запах пекарни с угла. Всё то же самое. Что-то стало другим.

Кто написал это.

Она думала об этом весь остаток дня — не тревожась, скорее рассматривая. Когда человек власти читает текст и ставит в конце вопрос «кто написал это» — это может означать несколько вещей. Интерес — это одно. Желание найти и использовать — это другое. Желание найти и устранить как источник неудобного знания — это третье. У неё не было способа узнать, что именно Ибрагим-паша имел в виду. У неё было только то, что она знала о нём — строчки из учебника и две недели слухов через Кемалья.

Строчки из учебника говорили: умный. Образованный. Жестокий с врагами. Щедрый с нужными людьми.

Важен был последний пункт: щедрый с нужными людьми. Значит, у него была практика определять, кто нужный. Значит, он умел это делать. Значит, вопрос «кто написал это» мог быть началом именно такого определения.

Она решила: ждать дальше. Пока он не сделает следующего шага сам — ничего не форсировать. Если захочет найти — найдёт. В Стамбуле всё находится, если искать с дворцовыми ресурсами.

* * *

Когда ситуация стала чуть яснее — не разрешилась, но приобрела форму — она написала Димитрису.

Это было труднее, чем письмо Якобу. С Якобом она говорила как взрослый с взрослым — он понимал контекст, понимал паузы, понимал что такое неполная информация и зачем она нужна. С Димитрисом — с мальчиком, которому было четырнадцать и который скопировал её трактат для учёбы и не подумал что это имеет значение — нужно было другое.

Она писала долго. Черновик переписала дважды.

«Димитрис. Мне стало известно, что ты скопировал часть трактата — аккуратно, со своими пометками, синими чернилами. Я не видела копию сама, но мне описали её. Я узнала кое-что ещё: эта копия сейчас в Стамбуле, в руках человека, который читает медицинские тексты серьёзно и умеет задавать правильные вопросы.

Я хочу сказать тебе следующее.

Ты копировал правильно. Это значит, что текст дошёл в точности, без искажений — это важно для медицинского текста, где одно слово может изменить смысл. То, что ты делал пометки вопросами — это тоже правильно. Это то, что должен делать человек, который учится.

Я не знала, что это окажется важным. Ты не знал. Никто не знал. Иногда правильные вещи случаются без умысла — не потому что кто-то умно спланировал, а просто потому что каждый в цепочке делал то, что считал обычным. Это нужно запомнить на будущее: не все важные вещи выглядят важными в момент когда ты их делаешь.

Пока жди. Будут новости — напишу. Якоб знает достаточно. Занимайся медициной. Твои вопросы на полях — хорошие вопросы, я отвечу на каждый отдельно в следующем письме.

— В.»

Она запечатала письмо и почувствовала что-то, что не умела назвать точно. Не гордость — слишком громкое слово. Что-то меньше и точнее. Удовлетворение от того, что мальчик, который задавал правильные вопросы синими чернилами, получит ответы. Что цепочка, которую она не строила, включала в себя это — его вопросы, её ответы, его учёбу.

Как должно быть, подумала она. Не всегда так бывает. Но сейчас — так.

Ответ Димитриса пришёл через два месяца. Двадцать три вопроса — про уксус, про карантин, про отличие воздушного заражения от контактного, про то, можно ли применить методы к лошадям, про один конкретный случай из её родосских глав, который он каким-то образом прочитал, хотя она не понимала как. Последний вопрос был: «Когда ты вернёшься?»

Она написала ответы на двадцать два вопроса. На двадцать третий — только: «Когда закончу».

* * *

Следующий шаг сделал Ибрагим-паша — через три недели после того, как Кемаль узнал про двенадцатую пометку.

Не напрямую. Через третьего человека — чиновника из канцелярии визиря, который явился к посреднику Кемалю с деловым тоном и без лишних слов. Паша интересовался: есть ли в Стамбуле иностранный лекарь, который работал в Белграде и на Родосе и знаком с греческой медицинской традицией.

Описание было точным.

Посредник ответил, что не знает. Передал Кемалю. Кемаль пришёл к Вере вечером.

— Они ищут тебя, — сказал он.

— Официально?

— Пока нет. Осторожно. Через людей. — Он сел. — Ты понимаешь, что это значит.

— Что он думает. Прежде чем действовать. — Она поставила перо. — Это хорошо.

Кемаль посмотрел на неё с тем выражением, которое она называла про себя «оцениваю не первый раз и всё равно удивляюсь».

— Ты не боишься, — сказал он.

— Боюсь. — Она смотрела на трактат перед собой. — Просто не знаю, чего именно.

Поэтому жду. Когда точно знаешь чего бояться — тогда и надо бояться.

— А пока?

— Пока работаю.

Он помолчал секунду. Потом сказал — спокойно, без нажима:

— Когда он найдёт тебя — а он найдёт, это вопрос времени — ты должна будешь принять решение быстро. И ответ должен быть, не когда придут звать. Сейчас.

Это был правильный совет. Это был совет человека, который знал, как работают решения в условиях власти: принятое заранее держит тебя, принятое под давлением — держит других.

— Я подумаю, — сказала она.

— Хорошо.

— Я скажу тебе, когда решу.

Он снова открыл Руми. Она вернулась к трактату. Лампа горела ровно. За стеной Гадьяль ходил по своему привычному вечернему маршруту — она уже выучила его шаги. Всё было обычным. Что-то менялось.

* * *

Той ночью она не спала.

Не из-за страха — это она знала точно. Страх у неё был узнаваемым: учащённое дыхание, мышцы в лёгком напряжении, навязчивые прокрутки одного сценария. Этого не было. Было другое — то состояние, которое она называла рабочим думанием: мозг перебирал варианты, раскладывал, откладывал, снова поднимал. Сон в таком состоянии не шёл не потому что страшно, а потому что думается.

Она думала об Ибрагим-паше.

Не о том, кем он был в тех строчках учебника. О том, кем он был в двенадцати пометках на тридцати страницах. Это был живой человек, который читал её текст и делал пометки карандашом, и думал о 1521 годе, и написал «кто написал это» в конце последней страницы. Живой человек с конкретным прошлым и конкретными вопросами.

И конкретным концом. 1536 год. Тринадцать лет от сейчас. Задушен во сне по приказу Сулеймана.

Она лежала и думала: если бы она не знала этого, как бы она смотрела на него? Как на умного опасного человека с властью и с интересом к её работе. Как на потенциального покровителя с непредсказуемым характером. Как на кого-то, от кого зависит много — не всё, но много.

Она знала это. И поэтому смотрела иначе. Тринадцать лет. Сейчас — апрель 1523-го. У него тринадцать лет. Этот человек, который читал с карандашом и думал о болезнях армии, — через тринадцать лет умрёт от руки человека, которому служил всю жизнь, которого считал другом.

Это было первый раз, когда третье «не говорить» стало для неё не принципом, а весом.

В Белграде было одно число — дата падения города. Это был факт о событии. На Родосе была дата капитуляции — тоже факт о событии. Здесь был человек. Живой, конкретный, который делал пометки карандашом и думал о болезнях гарнизона. Факт о человеке весил иначе.

Она думала об этом, пока за окном не начало светлеть.

Потом встала, умылась, открыла трактат. Написала одну строчку в личную тетрадь — не в трактат, в личную: «Март 1523. Некоторые вещи нельзя знать, не неся их. Это нормально. Несу».

Закрыла тетрадь. Начался рабочий день.

* * *

Через неделю после разговора с Кемалём — одним из тех вечеров, когда он приходил без повода и сидел с Руми — она спросила его кое-что.

— Ты думал о том, что значит, когда текст начинает жить сам?

— В каком смысле?

— В том смысле, что я написала это в Смирне, два года назад. Для себя — чтобы думать вслух, не для читателя. Я никому не давала оригинал. Я не знала, что Димитрис сделает копию. Я не знала. — Она смотрела на трактат. — И сейчас он в руках великого визиря, и тот написал «кто написал это» на последней странице. Я не делала ничего ради этого. Это случилось само.

Кемаль думал — долго, по его меркам.

— Оружие, — сказал он наконец. — Когда кузнец делает меч — он делает его для конкретной цели. Но потом меч идёт в мир, и мир решает, для чего его использовать. Кузнец не контролирует это после того, как меч вышел из рук.

— Это верно. — Она помолчала. — Но неполно. Меч не убеждает. Текст — убеждает. Меч работает на того, кто держит. Текст работает сам.

— Тогда — идея, — сказал он. — Когда идея выходит из головы в слова — она становится чужой собственностью тоже.

— Да. — Это было точнее. — Именно это. Я написала про природу заражения — про невидимые причины болезни, про то, как они переходят через воду и руки и воздух. Это не моя идея в том смысле, что я её выдумала — я это наблюдала и записала. Наблюдения не принадлежат никому. — Пауза. — Но запись принадлежит. И когда запись уходит — уходит что-то ещё вместе с ней.

— Что именно?

Она думала.

— Возможность контролировать как её прочтут, — сказала она наконец. — Я знала, что имела в виду каждую фразу. Ибрагим-паша читает её со своим опытом 1521 года, со своим пониманием армейской медицины, со своими вопросами. Он читает другой текст, чем тот, который я писала. Не потому что текст изменился. Потому что читатель другой.

Кемаль кивнул — медленно, тем кивком, который означал не «согласен», а «понял и думаю».

— Это пугает? — спросил он.

— Нет, — сказала она, и сама удивилась тому, что это было правдой. — Это правильно. Текст, который читают только так, как автор намеревался — это мёртвый текст. Живой текст — тот, который разные люди читают по-разному и находят в нём своё.

— Даже если они находят в нём то, чего ты не закладывала?

— Особенно тогда.

* * *

В марте было двадцать шесть пациентов. Она вела по каждому запись — короткую, в стандартном формате, который выработала ещё в Смирне: дата, симптомы при первом визите, диагноз, метод, результат при последнем визите. Этот формат она постепенно сделала жёстким — не потому что любила жёсткость, а потому что опыт показал: произвольные записи нечитабельны через полгода даже самим автором. Стандарт был памятью.

Из двадцати шести — четырнадцать завершены хорошо: пациент выздоровел или улучшился настолько, что дальнейшее наблюдение не требовалось. Восемь — продолжались: хронические случаи, или случаи, требующие нескольких визитов. Три — стабильные без улучшения: пациенты, которым она не могла помочь больше чем облегчением. Один — летальный.

Про этого одного она думала несколько дней.

Мужчина был немолодым — около шестидесяти, купец средней руки, пришёл сам, с болью в правом боку под рёбрами, которая шла уже несколько месяцев и становилась хуже при еде. Она осмотрела его дважды. Диагноз был понятен — желчнокаменная болезнь с осложнениями, возможно желчный пузырь в начале гангренозного процесса. В двадцатом веке — плановая операция, лапароскопия, три дня стационара, домой. Здесь — никакой хирургии этого типа не существовало. Существовала диета, существовало облегчение боли травяными отварами, существовало строгое ограничение жирного. Это давало время. Не решение.

Она сказала ему правду — в той мере, в которой правду можно сказать без слова «умрёшь». Сказала: это серьёзно, лечение облегчит, но не вылечит, нужно строго соблюдать режим и немедленно приходить если боль усилится. Мужчина слушал с тем спокойствием, которое бывает у людей, которые уже знали что-то похожее, но хотели услышать от лекаря.

— Значит, долго не проживу, — сказал он. Это был не вопрос.

Она не стала говорить «всё зависит от режима» и «бывали случаи». Она сказала:

— Может быть, несколько лет. Если будете следовать рекомендациям. Может быть меньше.

Он кивнул. Поблагодарил. Пришёл ещё раз через неделю — взять написанный список диеты. На девятый день после первого визита его принесли соседи.

Она записала в тетрадь: «Летальный исход, девятый день. Возможно, острый желчный приступ с перфорацией. Облегчение было достигнуто. Хирургическая помощь данного периода не позволяет решить основную проблему. Записать в методологическую главу: ограничения практика определяются не только его знанием, но и инструментами эпохи. Это нужно принять как факт, а не как личную неудачу».

Написала. Перечитала. Последнюю фразу — «это нужно принять как факт, а не как личную неудачу» — перечитала отдельно.

Знать правило не то же самое, что жить по нему.

Она вздохнула. Закрыла тетрадь. Следующий пациент ждал.

К концу марта ситуация приобрела форму, которую она могла описать точно.

Ибрагим-паша знал, что в Стамбуле есть иностранный лекарь, написавший медицинский текст необычного содержания. Он искал этого лекаря через осторожные каналы. Он ещё не нашёл — или нашёл и пока не действовал. Разницы пока не было: действий не последовало ни в том, ни в другом случае.

Кемаль продолжал наблюдать. Это был его метод, и он был правильным.

Вера работала. В первый месяц — двадцать шесть пациентов, из них четыре серьёзных, два из которых она выиграла сразу, один — с трудом и с остаточной слабостью у пациента, которая ещё потребует наблюдения, один — не выиграла. Мужчина около шестидесяти лет, желчный пузырь, операция невозможна инструментами этого времени, и даже если бы была возможна, она не была хирургом. Она дала ему облегчение и время. Этого оказалось мало.

Она записала его в тетрадь — полное описание, симптомы, методы, результат. В конце написала: «Отказ. Причина: отсутствие хирургических возможностей. Облегчение достигнуто. Летальный исход на девятый день». Это была медицинская запись, не некролог. Некролог был внутри, отдельно от записей, в том месте, куда она складывала лица людей, которых не смогла. Этих лиц было не много — она умела делать своё дело — но они были.

Мужчина её запомнил. Не имя — она не назвала ему своё имя. Просто запомнил лицо.

Трактат за время здесь вырос на девять страниц. Не быстро — она никогда не писала быстро — но правильно. Первая стамбульская глава была про городскую эпидемиологию. Её она считала самой важной из написанных здесь.

Кемаль приходил через день. Иногда они говорили, иногда — просто сидели. Это тоже было работой, хотя не той, которую записывают.

Якоб молчал из Смирны — молчание, которое она умела читать как «всё нормально, слезу». Иоанна не писала — от неё письма ходили медленно, через цепочку посредников. Рахель где-то везла карты.

Всё двигалось. Иногда этого достаточно.

В последний день марта она открыла тетрадь и написала итог: «Март 1523. Трактат в нужных руках — не по плану, по случайности, которая оказалась правильной. Жду следующего. Пациентов: 26. Трактат: 89 страниц. Языки: дворцовый турецкий — медленно, но движется. Сон: нормальный. Кемаль: здесь. Это достаточно».

Закрыла тетрадь. Спрятала под половицу рядом с оригиналом трактата.

Март заканчивался.

* * *

Кемаль объяснял ей это долго — как устроено внимание при стамбульском дворе. Не потому что она спросила напрямую. Просто разговор дошёл до этого сам, в один из вечеров в середине марта, когда она сказала: мне странно, что он сам читал рукопись. Разве у великого визиря нет людей для этого.

— Есть, — сказал Кемаль. — Но он читает сам то, что считает важным. Это его отличительное свойство — люди, которые с ним работают давно, это знают. Он не доверяет чужим пересказам в том, что касается идей. Факты — да, пересказ годится. Идеи — нет. Идею можно пересказать неточно случайно или намеренно, и разница важна.

— Это разумно, — сказала она.

— Это и опасно тоже. — Кемаль смотрел на огонь лампы. — Человек, который читает сам, формирует собственное мнение. Которое потом трудно изменить извне. Если он прочитал твой текст и решил что думает о нём — это его мнение, не его советников. Советники могут влиять на многое. На то, что уже прочитано и понято — труднее.

Она думала об этом.

— То есть двенадцать пометок — это двенадцать его собственных мыслей, — сказала она. — Не то, что ему сказали думать.

— Да. — Пауза. — Это делает их точнее. И делает ситуацию труднее предсказуемой. Советника можно направить. Собственное мнение человека — сложнее.

Это была важная информация. Она записала её не в тетрадь, а в память — в ту её часть, которая была для вещей, неподходящих для записи. Ибрагим-паша читал сам. Его двенадцать пометок — его. Когда он найдёт её — а он найдёт, Кемаль был прав, это вопрос времени — он придёт с собственными вопросами, а не с вопросами советников. Это меняло то, как нужно было готовиться к встрече.

— Как мне готовиться? — спросила она.

— Быть собой, — сказал Кемаль без паузы. Значит, думал об этом уже. — Не тем, кем он хочет тебя видеть. Собой. Люди его типа — умные, с собственными мнениями — чувствуют несоответствие. Если ты будешь пытаться угадать чего он хочет и дать именно это — он это заметит. Если ты будешь собой, даже если это не то, чего он ожидал — это будет честнее. А он ценит честность. По крайней мере — в людях, которые ему полезны.

— Это тонкое различие.

— Да. — Он посмотрел на неё. — Но ты умеешь его делать. Ты всегда была собой. Даже когда это было неудобно.

Она не ответила. Это было слишком точным замечанием, чтобы его комментировать.

* * *

Несколько дней спустя она не спала снова.

На этот раз не из-за думания — из-за конкретной мысли, которая пришла в промежутке между сном и бодрствованием и которую невозможно было убрать обратно.

В Белграде она знала дату — падение города, август 1521-го. Это был факт о событии: крепость падёт, гарнизон сдастся, такого-то числа. Она не знала имён, не знала людей. Они были абстракцией — гарнизон, горожане, жертвы осады. Страшно, но абстрактно.

На Родосе она знала дату и знала *де л'Иль-Адама* — великого магистра. Человек с именем. Она видела его один раз, говорила с ним коротко. Но не рассказала ему тогда. Она молчала — потому что одна встреча, потому что его достоинство было в том, чтобы принимать решения в неизвестности. Это было трудно, но держалось на принципе: некоторые вещи человек должен прожить сам.

Здесь — Ибрагим-паша работает в дворцовой библиотеке. Читает с карандашом. Говорит по-гречески — это его первый язык, язык детства. Она ещё не встречала его лично — встреча впереди. Но уже сейчас — через двенадцать пометок, через три слова «кто написал это», через описания Кемаля — он уже не абстракция. Он человек с определённым способом думать, с определённым прошлым, с детством в Парге, с запахом рыбного рынка, который он, возможно, помнит.

И он умрёт в 1536 году. Тринадцать лет.

Она лежала и думала: принцип «некоторые вещи человек должен прожить сам» — верный. Она в это верила. Верила на Родосе. Верит сейчас. Но Родос был восемь месяцев и один человек, которого она видела раз. А это конкретный человек. Уже сейчас, ещё не познакомившись, — он конкретный. Что будет позже?

Она думала об этом честно, не уходя в сторону. Через время будет труднее. Потом принцип будет весить больше, потому что человек за ним будет весить больше. Это была цена долгого «не говорить» — не одноразовая, а накапливающаяся.

Это нормально, решила она. Это не делает принцип неверным. Это делает его тяжёлым. Тяжёлые правильные вещи всё равно правильные. Просто их нести труднее, чем лёгкие неправильные.

Она встала. Налила воды из кувшина. Выпила медленно, у окна.

За окном Стамбул спал — почти. Где-то вдалеке минарет. Где-то ближе — собака. Обычная ночь.

Она вернулась в постель и на этот раз уснула.

* * *

Про Костуса она думала отдельно.

Не с осуждением — с пониманием, которое было почти таким же неудобным, как осуждение. Он продал копию чужого текста незнакомому торговцу за небольшие деньги. Он не знал, что это важно. Он не знал, что это трактат по медицине, написанный женщиной из другого времени. Он знал только, что александрийский торговец предложил сумму, и что текст был учебной копией мальчика, и что Якоба не было рядом.

Он сделал то, что делают люди, когда видят возможность и не видят причин её не использовать. Это не злой поступок. Это — человеческий.

Именно поэтому она не написала Якобу ничего про него в своём коротком письме. Якоб разберётся сам — он всегда разбирался сам с такими вещами. И его разбор был, как правило, точнее и справедливее, чем её мог бы быть.

Что она написала Якобу про это — ничего. Что подумала — то, что уже было написано внутренне, в той части себя, где хранились наблюдения о людях: Костус продал то, что не его. Не из жадности и не из злого умысла. Просто потому что не думал. Не думать — это тоже выбор, даже когда он не осознаётся как выбор. Это важно помнить о людях, с которыми работаешь.

Она запомнила. Не как обиду — как данные.

* * *

Позже — когда она уже знала всю цепочку, когда можно было видеть её целиком — она думала о Хаммаде.

Халиль аль-Хаммад, александрийский торговец редкостями. Он прочитал первые страницы по-гречески, достаточно чтобы понять: что-то необычное. Он не был медиком. Он не мог оценить медицинскую часть — методы, аргументацию, наблюдения. Он оценил другое: тон. Что-то в тоне текста было другим, чем тон обычных медицинских рукописей его времени. Она понимала это сейчас — потому что знала, откуда этот тон. Она писала не как средневековый врач, которому нужно было подтвердить своё знание через авторитеты. Она писала как человек, который видел, проверял и записывал. Наблюдение, а не авторитет.

Этот тон — без неё самой, без объяснения откуда он — Хаммад почувствовал интуитивно. Коллекционеры тоже иногда чувствуют что-то необычное, даже не умея это назвать. Он купил и продал — и запустил цепочку, которая в конечном счёте привела к двенадцати пометкам в руках великого визиря.

Случайность — это то, как называют события, причин которых не видишь. Она видела причины теперь. Хаммад почувствовал тон. Костус воспользовался возможностью. Египетский чиновник искал подарок. Покровитель пополнял библиотеку. Паша читал поступления.

Ни одно звено не было намеренным. Все звенья работали по своей собственной логике. Цепочка сложилась — не потому что кто-то её строил, а потому что в ней было что-то, из-за чего каждое следующее звено находило повод её продолжить.

Это был сам трактат. Тон, который Хаммад почувствовал. Идеи, которые заставили пашу взять карандаш. Что-то в тексте, что притягивало внимание людей, которые умели его замечать.

Это было, наверное, лучшим, что она могла сказать о своей работе. Не что она была известной или признанной. Что она была достаточно настоящей, чтобы идти сама.

* * *

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ибрагим-паша

Он умрёт в 1536 году. Сейчас апрель 1523-го.

— Вера Соколова, тетрадь наблюдений. Апрель 1523 г.

* * *

Кемаль сказал ей об этом за три дня.

Не потому что ему нужно было время на подготовку — встреча была назначена, и если паша назначил, то не менял без причины. Три дня — это было для неё. Чтобы думать, чтобы решить что надеть, что взять, что говорить и что не говорить. Чтобы привести внутреннее в порядок раньше, чем приводить внешнее.

— Как это происходит? — спросила она. — Формально.

Кемаль объяснял методично, как объяснял правила нового места: без интонаций оценки, просто информация. Приёмный зал малой аудиенции — не парадный, именно малый, что само по себе было сигналом: встреча деловая, не демонстрационная. Кемаль будет рядом первые несколько минут — представит, переведёт если нужно, потом отступит. Паша разговаривает с теми, кого принял, напрямую — это его стиль, задокументированный, устойчивый. Сидеть или стоять — смотреть на него. Если он сел, садиться. Если стоит — стоять. Не опускать взгляд — он читает это как неуверенность или ложь. Смотреть — но не вызывающе. Говорить прямо, без турецких формул уважения, в которых она всё равно ошибётся — лучше прямо по-гречески.

— Он будет говорить по-гречески? — спросила она.

— Скорее всего. Это его первый язык. Он использует его, когда хочет говорить без посредников.

Она подумала. Это была важная деталь — не техническая, но существенная. Человек, говорящий на первом языке, говорит иначе, чем на выученном. Меньше дипломатических оберток. Больше того, что он думает на самом деле. Это преимущество и для неё — её греческий был живым, не книжным, она думала на нём достаточно свободно.

— Что он хочет? — спросила она. Напрямую, как всегда с Кемалём.

— Убедиться, что текст написала ты. — Пауза. — И понять, кто ты за пределами текста. Это было честным ответом. Она его приняла.

В следующие три дня она не делала ничего специального — не учила наизусть формулировки, не репетировала ответы. Она работала, как работала всегда: час утром с трактатом, пациенты, вечер с тетрадью наблюдений. В перерывах думала о том, что знала про Ибрагим-пашу — не из учебника, а из месяца косвенных наблюдений через Кемалья. Человек, который читает с карандашом. Который написал кто написал это в конце последней страницы. Который написал имя своего армейского лекаря рядом с её методом. Который помнит 1521 год как конкретный провал, а не как абстрактную строчку отчёта.

Этого было достаточно, чтобы идти на встречу.

* * *

Апрельский Стамбул был другим, чем февральский.

Тепло пришло по-настоящему — не то обманчивое зимнее тепло нагретого камня, которое она ощутила в первый день и которое схлынуло на второй. Настоящее весеннее тепло с запахом цветущих деревьев, которые в этом городе росли повсюду — во внутренних дворах, вдоль улиц, на крышах там, где была хоть пядь земли. Миндаль отцвёл. Абрикосы только начинали.

Они шли пешком — недалеко, по маршруту, который Кемаль выбрал заранее: не через рынок, не через портовый квартал, через тихие улицы выше по холму, где было просторнее и где она могла идти не думая о том, куда смотреть. Она это оценила — не как опеку, а как точный расчёт того, что нужно человеку перед важным разговором.

— Ты нервничаешь? — спросил он на полдороге. Не с тревогой — из любопытства.

— Нет. — Это было правдой. — Думаю.

— О чём?

— О том, что он спросит и что я не смогу ответить честно.

Кемаль посмотрел на неё.

— Ты имеешь в виду будущее.

— Да.

— Он не спросит.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что он умный человек, — сказал Кемаль. — Умные люди не задают вопросы, на которые не готовы услышать ответ. Если он подозревает что ты знаешь больше, чем говоришь — он будет узнавать это косвенно. Наблюдением, а не вопросами в лоб.

Она подумала. Это совпадало с тем, что она знала про него из двенадцати пометок. Человек, который делает двенадцать пометок на тридцати страницах, думает косвенно.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда я отвечаю на то, что он спросит, и не предлагаю больше.

— Именно так.

Они прошли мимо фонтана у угла — мраморный, с надписью по-арабски над чашей, вода тихо шла из узкого жёлоба. Кто-то уже наполнял кувшин. Обычное утро в обычном квартале. Впереди был малый приёмный зал великого визиря.

* * *

Малый приёмный зал оказался меньше, чем она ожидала.

Не скромным — богатым, с коврами которые стоили больше, чем дом Якоба целиком, с изразцами вдоль стен в том сине-белом узоре, который она уже начала узнавать как стамбульский почерк. Но — небольшим. Шесть человек в нём были бы толпой. Сейчас их было двое: молодой секретарь у стены с листами и сама Вера. Кемаль встал у двери, как и сказал.

Ибрагим-паша вошёл без церемоний.

Она ожидала этого — Кемаль предупредил, что он не держит входящих в ожидании демонстративно, это не его стиль. Но всё равно было что-то, к чему она не была готова — не сам человек, а то как он двигался. Быстро, с той лёгкостью, которая бывает у людей, не привыкших встречать физических препятствий. Тридцать лет, около того — она знала дату рождения примерно. Высокий, темноволосый, в одежде богатой, но без избыточных украшений: человек, которому нет нужды доказывать положение вещами.

Кемаль сказал несколько слов по-турецки — представление, она узнала своё имя в нужном месте. Паша кивнул, не глядя на Кемалья. Смотрел на неё.

— Садись, — сказал он.

По-гречески. Без акцента.

Она села. Он сел напротив — не за стол, за столом был секретарь, а на невысокое сиденье у стены, неформально, чуть боком, с тем видом человека, который в любом помещении устраивается как у себя.

— Текст твой, — сказал он. Не вопрос — констатация. — Я вижу это по тому, как ты сидишь.

Это было неожиданно. Она не успела ответить, и он продолжил:

— Человек, который переписывает чужое, садится иначе. С той неловкостью, которую дают чужие слова в собственном рту. Ты сидишь как автор.

— Это верно, — сказала она.

— Хорошо. — Пауза. — Тогда объясни мне вот что.

* * *

Разговор занял больше часа.

Она поняла это по свету в окне — когда входила, солнце стояло прямо, когда наконец паша закрыл тему карантина и перешёл ко второй пометке, оно уже клонилось. Это не было тягостным: говорить с человеком, который слышит — не тягостно, даже если разговор долгий. Тягостно говорить с тем, кто уже знает что ответит, пока ты ещё говоришь. Ибрагим-паша таким не был.

Вторая пометка была про чуму — точнее, про разницу между тем, что она называла воздушным заражением, и тем, что он как командир видел в поле. Он описал конкретно: 1517 год, египетский поход, один город на пути, который сжигали полностью — традиционный метод борьбы с чумой в военном обозе. Она сожгла бы другое. Не людей. Не дома. Вещи.

— Вещи? — повторил он.

— Одежда, постельные принадлежности, любая мягкая поверхность, на которой мог лежать больной. Твёрдое — камень, металл — можно прокалить или обработать уксусом. Мягкое — только уничтожить. Воздух болезнь не держит долго. Вещи держат дольше.

Он смотрел на неё.

— Это ты написала в тексте. Я перечитал перед встречей.

— Там это написано для практика. Ты спросил — я объясняю механику.

— Почему вещи держат дольше, чем воздух?

Это был хороший вопрос. Настоящий — не риторический, не для проверки, а потому что хотел знать. Она ответила так, как умела объяснять без микроскопа и без современной терминологии — через аналогию:

— Влажная ткань — это дом. Невидимые причины болезни живут в домах, как люди. В сухом воздухе они долго не держатся — умирают быстро. В сырой шерсти, в льне — могут жить несколько дней. Вещи больного — это передвижной дом болезни.

Долгая пауза. Паша смотрел не на неё, а куда-то мимо — туда, где, вероятно, складывал новое знание в уже существующую структуру понимания.

— Тогда обеззараживание вещами важнее карантина людей.

— Они оба важны. Но если выбирать — да.

— Это противоречит тому, что делают сейчас.

— Я знаю. Много в трактате противоречит тому, что делают сейчас.

— Это не пугает тебя?

Она подумала. Честный ответ требовал паузы.

— Пугает, — сказала она. — Но не так, как пугало бы раньше. Новое знание всегда противоречит старой практике. Это не признак ошибки нового — это признак того, что практика ещё не обновилась. Это происходит медленно. Я это приняла.

Он кивнул. Не согласие — принятие ответа.

— Третья пометка, — сказал он.

Он объяснял. Медленно, точно — на хорошем греческом, с той конкретностью, которая бывает у людей, думающих системами. Первая пометка была о карантине в военном лагере — он описал ситуацию 1521 года подробно: симптомы, скорость распространения, что делали лекари, что это дало. Спросил — что бы она сделала иначе.

Она отвечала честно, без смягчений. Карантинная линия должна быть дальше от основного лагеря, не ближе — общий источник воды делает любой карантин внутри лагеря условным. Это элементарная механика заражения через воду. Если источник воды один, карантин должен быть выше по течению, не просто в отдельной части лагеря.

Он слушал. Не кивал — просто слушал с тем полным вниманием, которое она у немногих видела: без следующего своего слова уже готового за зубами. Она говорила — он слышал.

— Почему вода? — спросил он, когда она закончила.

— Потому что невидимые причины болезни переносятся через воду быстрее, чем через воздух. — Она остановилась на секунду: это был главный тезис трактата, и она формулировала его так, как формулировала для людей, не привыкших к медицинской терминологии. — Болезнь не возникает сама по себе. Её переносит что-то конкретное — вода, руки, воздух вблизи больного. Из этих трёх вода самая быстрая, потому что её пьют все.

— Ибн Сина писал нечто похожее.

— Он был прав, — сказала она просто. — Его перестали читать в европейской традиции. Это ошибка.

Пауза. Он смотрел на неё.

— Ты читала Ибн Сину.

— Не в оригинале. В латинском переводе. Он неполный и местами неточный, но достаточный.

— Откуда у тебя латинский перевод?

Это был первый вопрос о ней, а не о тексте. Она ответила правдой — правдой, которая была возможна:

— Из библиотеки в Смирне. Там у одного торговца было несколько медицинских рукописей. Он позволял читать.

— Имя торговца?

— Якоб бен Шломо.

Что-то изменилось в лице паши — не выражение, а за выражением. Она не умела читать это точно — слишком мало знала его. Но что-то изменилось.

— Я знаю это имя, — сказал он. Нейтрально.

— Он хороший человек, — сказала она.

— Я знаю, — повторил Ибрагим-паша. — Поэтому знаю его имя.

* * *

Секретарь вышел через четверть часа — тихо, без объяснений. Это тоже был, она поняла, сигнал: разговор стал другим. Кемаль у двери остался, но он был за пределами слышимости.

Ибрагим-паша встал, подошёл к окну — небольшому, выходящему во внутренний двор, где цвела какая-то белая весенняя вещь, название которой она не знала по-турецки. Стоял спиной к ней секунду. Потом повернулся.

— Что ты хочешь здесь? — спросил он. По-гречески. Напрямую.

— Работать, — сказала она так же.

— Как?

— Лечить. Писать трактат. Учиться тому, что здесь знают и чего я не знаю.

— Трактат — о чём?

— О природе заражения и о том, как его остановить. Первая часть — у тебя. Вторая написана, третья пишется. Когда будет закончен — он будет руководством для практика. Не для учёного — для человека, который работает с больными в полевых или городских условиях.

— Практическое руководство.

— Да.

Он вернулся к своему месту, сел. Смотрел на неё ровно — тем взглядом, который она уже начала понимать как основной его режим: не доброжелательный и не недоброжелательный. Оценивающий. Точный.

— У меня есть предложение, — сказал он.

— Знаю.

Пауза. Что-то в его лице чуть изменилось — не удивление, но близко к нему. Он не ожидал этого ответа.

— Говорили? — спросил он.

— Нет. — Она позволила себе небольшую паузу. — Двенадцать пометок. Одна из них — имя твоего армейского лекаря. Это не коллекционный интерес. Это прикладной.

Пауза длиннее. Потом — впервые за встречу — что-то в его лице стало ближе к улыбке, хотя до улыбки не дошло.

— Тебе говорили, что ты умная женщина?

— Говорили, — сказала она. — Это не комплимент, это наблюдение. Принимаю его как наблюдение.

На этот раз улыбка всё же состоялась. Краткая, настоящая.

— Хорошо. Тогда — моё предложение. Официально: лекарь при малом дворе, с правом практиковать для лиц, которых я назову. Неофициально: доступ к дворцовой библиотеке, контакт с моими лекарями как с коллегами, не как с начальниками. Взамен: трактат продолжается в моём присутствии. Я хочу читать главы до завершения.

Она слушала. Когда он закончил, сказала:

— Три условия.

— Слушаю.

— Первое: лечить тех, кого я считаю нужным, без согласования. Если ко мне пришёл пациент — я его лечу. Без разрешения.

— Принято. — Без паузы.

— Второе: моё имя на трактате. Когда он будет закончен — моё имя. Не твоё одобрение, не название твоей библиотеки. Только моё имя.

Пауза. Более длинная — та, которую она уже умела читать как думаю.

— Одобрение — это защита, — сказал он.

— Имя — это честность, — ответила она. — Они не одно и то же.

Ещё пауза.

— Только твоё имя, — сказал он наконец.

— Да.

— Третье?

— Свобода уйти.

Он смотрел на неё долго.

— Уйти — куда?

— Туда, куда нужно будет. Когда нужно будет. Без объяснений.

— Я не могу дать это как условие.

— Тогда — посмотрим, — сказала она.

Он посмотрел на неё. Пауза — долгая.

— Посмотрим, — повторил он.

* * *

Кемаль ждал её в коридоре. Секретарь ушёл. Они шли обратно — тем же маршрутом, через тихие улицы выше по холму. Весеннее тепло было то же, цветущие деревья те же. Что-то стало другим.

— Как? — спросил он.

— Хорошо.

— Условия?

Она рассказала. Он слушал — как всегда, без следующего слова готового заранее. Когда она закончила про третье, сказал:

— Дворцовое «посмотрим» значит нет.

— Я знаю. — Она шла и смотрела прямо. — Нет, но пока без конфликта. Это лучше, чем нет с конфликтом.

— Согласен. — Пауза. — Ты торговалась хорошо.

— Я называла условия. Это не торговля.

Кемаль чуть помолчал.

— Это и есть торговля, — сказал он.

Она подумала.

— Тогда — да. Хорошо торговалась.

Первый раз за весь Стамбул она почувствовала что-то вроде смеха внутри — не снаружи, внутри. Тихое и настоящее.

* * *

Той ночью она не могла спать — не из тревоги, не из радости. Просто думала.

Разговор с Ибрагим-пашой она прокручивала не как проверку — не искала ошибок, не переформулировала то, что следовало сказать иначе. Просто держала его в памяти и смотрела. Человек, который говорит по-гречески без акцента потому что это его первый язык. Который читает медицинские тексты с карандашом. Который согласился на имя автора без долгого сопротивления — не потому что ему было всё равно, а потому что, она думала, он понял: это не о гордости, это о правиле. И он уважает правила, когда они ясно сформулированы.

Умный человек. Образованный — настоящим образованием, не украшательским. С практическим умом: он думал о применении, не о теории.

И он умрёт в 1536 году.

Она общалась с ним, с этим знанием внутри. Первый раз была так близко к человеку, о котором знала. Не абстрактно, как Белград. Не как краткое касание, как де Вилье на Родосе. Здесь — лицо напротив. Греческий без акцента. Краткая улыбка. Тринадцать лет.

Тринадцать лет — это срок, в который уместается много. Взрослеет ребёнок. Меняется город. Пишется трактат. Она провела в этом времени уже два года — знает, как идут два года. Несколько таких отрезков — и конец.

Принцип она держала твёрдо — тот же, что в Белграде, тот же, что с магистром. Некоторые вещи человек должен прожить сам — потому что проживание и есть то, что он есть. Нельзя изъять у человека его судьбу, не изъав его самого.

Но принцип в этот раз весил иначе. Потому что это был не принцип о дате. Это был принцип о человеке, с которым она только что разговаривала по-гречески и который согласился написать только её имя.

Она думала об этом иначе, чем думала о магистре на Родосе.

С де Вилье была одна встреча — короткая, через переводчика, в официальном контексте. Она видела его как функцию, как человека, принимающего решение в рамках своей роли. Она знала что он сделает, потому что знала что он должен делать — его роль определяла его решение. Это было тяжело, но это было понятно.

С Ибрагим-пашой она все видела иначе. Не функцию — человека. Человека, который сказал только своё имя — и это была уступка, которую он не был обязан делать, которую сделал потому что понял её аргумент. Человека, который дал ей доступ в библиотеку не ради демонстрации коллекции, а потому что увидел: это её разговор, разговор о предшественниках, который ей нужен. Это не функциональное поведение. Это — внимание.

Тринадцать лет от сейчас. Она знала точную дату — 1536 год, март. Задушен во сне в Топкапы, в комнате, до которой от спальни Сулеймана — несколько минут ходьбы. После двадцати лет дружбы, которой не было равных при этом дворе. По причинам, о которых историки спорили — политическое давление, зависть двора, Хюррем, усталость от тени визиря, который стал слишком блестящим.

Она не знала, можно ли было это изменить. Она знала, что не будет пытаться — не потому что безразлично, а потому что это был не её выбор делать. Его жизнь — его. Его судьба внутри неё — тоже его. Это был принцип, и она его держала. Но принцип от этого не становился лёгким.

Что-то новое она почувствовала в эту ночь — не тревогу и не горе. Что-то спокойнее обоих: ответственность. Она будет работать рядом с этим человеком несколько лет. Лечить его — возможно. Говорить с ним по-гречески — да. Наблюдать как он работает, как думает, как иногда ошибается — неизбежно. Это её часть отрезка его жизни. Это не маленькая вещь.

Нести это без права сказать — вот в чём была новизна третьего «не говорить» по сравнению с двумя предыдущими. В Белграде знание было о событии. На Родосе — о решении одного человека в одной ситуации. Здесь — о судьбе человека на тринадцать лет вперёд. Это не умещалось в одну ночь.

Она это приняла. Без радости и без отчаяния. Просто приняла — как принимают то, что изменить нельзя, но нести нужно.

За окном Стамбул. Апрельская ночь — тёплая, с запахом цветущих деревьев, который даже ночью никуда не уходил. Город жил своим ночным ритмом: где-то лодка на воде, где-то собака, где-то минарет в отдалении.

Она думала: мне скоро двадцать три в этом времени. Ему — около тридцати. Мы ровесники почти. Он умрёт в сорок с небольшим. Это не старость. Это возраст, в котором у людей ещё есть много дел.

Потом она перестала считать. Это был путь в никуда — считать годы человека, которому не скажешь про них.

Утром встала, открыла личную тетрадь — ту, которую никому не показывала — и написала одну строчку: «Апрель 1523. Он думает на греческом. Его детство — Парга. Тринадцать лет. Несу».

Закрыла. Потом налила воды. Выпила медленно у окна. Вернулась в постель. Уснула не сразу, но уснула.

* * *

На следующий день Кемаль пришёл в обычное время — вечером, без предупреждения. Гадьяль открыл. Вера была с трактатом.

Кемаль сел. Взял Руми. Она писала. Так прошло время.

Потом она отложила перо и сказала — не к нему напрямую, в пространство между ними: — Расскажи мне про Паргу.

Он поднял взгляд.

— Ты имеешь в виду — его Паргу.

— Да.

Пауза. Он закрыл Руми.

— Парга — маленький греческий город на побережье Эпира. На северо-западе. Морской — рыбный рынок, лодки, солёный воздух. Тогда — венецианский протекторат, граничит с османской территорией. Мальчик, взятый в devşirme, скорее всего, не понимал ещё что это означает — ему было лет восемь, может девять. Везли на север, через горы.

— Он вспоминает это?

— Те, кто знают его давно, говорят — да. Иногда. Не вслух, но видно.

Вера смотрела на стол перед собой. Деревянный, старый, с отметиной от горячего чайника чуть правее центра — Гадьялева метка ещё из прошлой жизни дома.

— Он говорит по-гречески как на родном, — сказала она. — Потому что это родной.

— Да.

— И думает по-гречески. Не знаю — я предполагаю.

— Вероятно, — согласился Кемаль. — Я думаю по-гречески. Он — тем более.

Она кивнула. Это было что-то — знание о человеке, которое она не получила от него напрямую, но которое было важнее многого прямого. Ибрагим-паша, великий визирь, любимец Сулеймана, самый молодой на этой должности в истории — где-то внутри думал по-гречески. На языке рыбного рынка в Парге. На языке мальчика, которого везли через горы.

— Это важно знать, — сказала она.

— Почему?

Кемаль посмотрел на неё — долго, тем взглядом, который она знала как оцениваю.

— Ты видишь в нём прежде всего человека, — сказал он. Не упрёк, не вопрос. Наблюдение.

— Это правильно, — сказала она. — Неправильно было бы думать о нём иначе.

Кемаль кивнул. Открыл Руми. Она взяла перо. Лампа горела ровно.

* * *

Через неделю он прислал за ней снова.

На этот раз — не в малый приёмный зал. В библиотеку. Небольшую, с полками вдоль всех стен от пола до потолка, с узким окном, выходящим в сторону Золотого Рога. Запах старой бумаги и воска — она знала этот запах, он был во всех библиотеках мира, как будто у него не было ни эпохи, ни географии.

Ибрагим-паша стоял у одной из полок, держал рукопись. Он обернулся, когда она вошла, и без предисловий сказал по-гречески:

— Я хочу показать тебе кое-что.

Рукопись была арабской — Ар-Рази, Абу Бакр Мухаммад ибн Закария, Китаб аль-мансури. Она узнала имя — знала его как Разеса в латинском написании, знала что это был крупнейший исламский медик девятого-десятого веков. Не читала — не было в Смирне.

— Здесь, — сказал Ибрагим-паша, открывая страницу. — Раздел о природе заразных болезней. Пятьсот лет назад.

В библиотеке она провела в тот день ещё несколько часов после того, как паша ушёл.

Он ушёл без церемоний — так же, как пришёл. Сказал: рукопись можешь взять на неделю, потом вернуть, если нужно ещё — скажи библиотекарю. Кивнул. Вышел. За ним вышел молчаливый сопровождающий, которого она не заметила вначале.

Она осталась.

Библиотекарь — немолодой, с тем выражением человека, привыкшего к тому, что в его библиотеку заходят и уходят, а он остаётся — посмотрел на неё без особого выражения. Потом показал жестом: вот полки с медицинскими текстами. Сел обратно к своей работе.

Она начала с полок.

Арабских рукописей было много. Это была одна из лучших медицинских коллекций, которые она видела — больше чем в Смирне у Якоба, лучше родосских монастырских хранилищ. Ибн Сина — несколько томов, она взяла в руки один. Ибн Рушд, которого в Европе знали как Аверроэса. Ар-Рази — тот самый, Китаб аль-мансури, который ей показал паша, и ещё два его труда на соседней полке. Гален по-гречески — привычный, почти родной. Ибн ан-Нафис, чьё имя она знала из учебника истории медицины: открыл малый круг кровообращения за триста лет до Харви — но Европа его не читала, и Харви открыл заново.

Она стояла с этим пониманием несколько минут.

Знание, которое было. Потом было потеряно — не потому что исчезло, а потому что перестали читать поперёк языковых границ. Ибн ан-Нафис описал кровообращение. Ар-Рази описал природу заразных болезней. Ибн Сина систематизировал медицинское знание так, что его Канон оставался учебником пять веков. Всё это было написано, было здесь, было доступно — и в европейской традиции почти не существовало.

Она думала об этом — о том, как знание умеет не распространяться через границы, которые люди проводят по языку и вере. О том, что её трактат был написан на греческом — а зна-

чит, доступен и грекам, и образованным туркам, и через переводы потенциально дальше. О том, что его предшественники писали по-арабски — а значит, в Европе их почти не читали. Это не потеря знания. Это его фрагментация.

Трактату нужен был раздел про предшественников. Не для авторитетности — для честности. Она не придумала метод наблюдения и записи. Ар-Рази придумал его в десятом веке. Она применила его заново, независимо, из другого места и времени. Это важно сказать — не из скромности, а потому что правда, и правда полезнее, чем претензия на оригинальность.

Она открыла Ар-Рази и начала читать. Арабский давался медленно, но давался. Библиотекарь принёс ей масляную лампу — незаметно, поставил рядом и ушёл. Это тоже был жест. Небольшой и конкретный.

Она читала до темноты.

Она читала — медленно, арабский у неё был достаточным для чтения, хотя и не беглым. Ар-Рази писал о том, что болезни передаются через воздух и воду, что их причина — нечто невидимое, что имеет природу и что можно изучить. Это было за пятьсот лет до неё. Это было то, что она писала в трактате.

— Он думал так же, — сказала она, увидев вошедшего Ибрагим-пашу.

— Да. — Пауза. — Ты знала про него?

— Слышала имя. Не читала.

Он посмотрел на неё.

— Тогда ты дошла до этого сама.

— Через наблюдение.

— Он тоже — через наблюдение. Он был практиком, не только теоретиком. Руководил больницей в Багдаде. Его метод — наблюдать и записывать.

Она стояла с этим. Ар-Рази. Девятый-десятый век. Он думал то же самое — и это знание было, и было потеряно в европейской традиции, и теперь она думала то же самое независимо, через другой путь, из другого времени.

— Я хочу эту рукопись прочитать, — сказала она.

— Знаю. — В его голосе не было удовлетворения победителя. Просто знание. — Поэтому позвал.

Это была, она поняла, другая часть его предложения — та, которую он не назвал словами на первой встрече. Не просто библиотека. Разговор через библиотеку. Он читал одни тексты — она другие — и здесь они пересекались. Это была его форма партнёрства.

— Хорошо, — сказала она.

* * *

Письмо Якобу после двух встреч она написала сразу — пока было свежо.

Не отчёт — она никогда не писала Якобу отчётов. Наблюдение. Он понимал разницу.

«Якоб. Встретилась. Дважды. Первый раз — формально, второй раз — в библиотеке. Его рукописи, его вопросы. Он думает иначе, чем я ожидала, — быстрее и практичнее. Это не плохо. Это другое.

Три условия. Два принял. Третье — открытый вопрос, но пока приемлемо.

Есть кое-что, что я хочу тебе сказать и что не следует писать прямо. Ты поймёшь из того, что не сказано: у меня будет несколько лет, чтобы работать здесь. После — Смирна. Это не вопрос. Это факт. Держи это.

Ар-Рази. Найди его латинский перевод — Разес. Если есть — купи для Димитриса. Если нет — пришли мне список того, что есть по арабской медицине. Якоб, это важно.

Я в порядке. Кемаль здесь. Работаю. — В.»

Она перечитала. Строчка про «несколько лет, после — Смирна» была зашифрована достаточно — Якоб поймёт. Он всегда понимал то, что говорилось между слов. Это был его главный навык, более ценный, чем все торговые связи.

Запечатала. Отдала Гадьялю.

Якоб ответит через три недели. Она не знала ещё чем. Наверное — что-то конкретное, практичное. Так устроен Якоб: на большое говорит малым.

* * *

В конце апреля она записала в тетрадь — коротко, по привычке итогового дня:

«Апрель 1523. Встреча состоялась. Три условия: два приняты, одно открыто. Это рабочая ситуация. Он читал Ар-Рази и знает, что в тексте есть предшественники. Это правильный человек в этом смысле — с историческим мышлением. Библиотека — настоящий ресурс.

Что меня беспокоит: то, что его ум работает быстро, — это и хорошо, и значит, что ошибки тоже будут быстрые. Медленный человек ошибается медленно — есть время исправить. Быстрый — другое.

Третье условие — свобода уйти — важнее, чем кажется. Дверь должна открываться в обе стороны. Пока — посмотрим. Кемаль говорит, дворцовое посмотрим значит нет. Я считаю — ещё не нет. Есть разница.

Тринадцать лет. Продолжаю нести. По-другому деть некуда.»

Она закрыла тетрадь. Спрятала под половицу.

За окном Стамбул в конце апреля — тёплый уже по-настоящему, с длинными вечерами и запахом цветущего. Мальчики на улице играли во что-то шумное и важное. Гадьяль ходил внизу своим ровным шагом. Кемаль придёт завтра или послезавтра, как приходил всегда.

Апрель кончался. Май начинался. Работы было много.

* * *

Ар-Рази открыл ей ещё одну вещь, которую она не ожидала.

Не медицинскую — методологическую. Он был первым, кто систематически описал разницу между двумя схожими болезнями — оспой и корью. Это звучало просто. На практике — это требовало терпения наблюдателя, который видел достаточно случаев обоих, чтобы начать замечать разницу в деталях. И записывал. Аккуратно, с датами, с описанием симптомов в динамике — не в момент, а через несколько дней. Динамика болезни была другим знанием, чем симптом в моменте.

Она делала это в Смирне — не зная, что Ар-Рази делал то же пятьсот лет назад. Это не значило что её работа была вторичной. Это значило что хороший метод приходит к разным людям независимо, если они достаточно внимательны. Метод — не собственность. Метод — свойство реальности, которое открывают те, кто смотрит.

Она написала об этом в трактат — не длинно, одним абзацем, в начало методологической главы. Что наблюдение в динамике важнее наблюдения в моменте. Что болезнь — это процесс, а не состояние. И что Ар-Рази понял это в десятом веке, а она в шестнадцатом, и между ними — никто в европейской традиции не держал это правило достаточно твёрдо.

Библиотекарь в тот вечер — его звали, она узнала, Мурад-эфенди — принёс ей ещё одну рукопись без слов. Положил рядом. Ушёл. Она открыла: Ибн ан-Нафис, трактат о кровообращении. Она его знала — знала как имя в учебнике истории медицины. Здесь — оригинал.

Она читала до тех пор, пока не погасла третья лампа. Потом вышла на апрельский воздух — тёплый, с запахом цветущего, — и пошла домой. Кемаль не приходил сегодня. Гадьяль уже спал. Она поднялась наверх, поставила Ар-Рази на стол рядом с трактатом.

Два текста — шестьсот лет разницы — лежали рядом. Это был правильный порядок вещей.

Она записала в трактат первую стамбульскую медицинскую главу в мае — не клинический случай и не методологию. Что-то другое: наблюдение о том, как устроена болезнь при власти. Не как политический текст — как медицинское наблюдение. Дворцовый пациент — это пациент, у которого много всего и мало покоя. Это создаёт определённый тип заболеваемости: хроническое, связанное со стрессом, с едой несезонной и привозной, с недостатком движения

в закрытых помещениях. Она дала этому название в рабочем порядке: болезни положения, в отличие от болезней бедности. Они симметричны в некоторых отношениях и диаметрально противоположны в других.

Ибрагим-паша прочитал эту главу и прислал через библиотекаря записку — арабским почерком, по-гречески: одно слово. Правильно.

Она убрала записку в тетрадь — не в медицинскую, в личную. Потом подумала и переложила в медицинскую. Это было профессиональное взаимодействие, не личное. Граница важна.

Или почти важна. Она пока не была уверена в точном месте этой границы в Стамбуле. В Смирне всё было яснее. Здесь — сложнее.

Это тоже записала в тетрадь. Под итогом апреля: «Граница между профессиональным и личным при дворе — размытая. Держать её придётся самой, изнутри, не снаружи. Это труднее. Но возможно».

В первые дни мая она получила от Кемалья короткое сообщение через Гадьяля — не письмо, устно: паша подтвердил первые два условия официально через канцелярию. Третье не упомянул.

Она ожидала этого. Отсутствие упоминания третьего условия было его способом обращения с ним: не отказ, не согласие — молчание. Молчание в официальном документе означало, что вопрос ещё не закрыт. Это была именно та позиция, которой она добивалась словом посмотрим. Она добилась.

Кемаль вечером того же дня:

— Ты понимаешь, что третье условие реально только если будешь держать его в голове сама. Никто его не выполнит за тебя.

— Знаю.

— Если ты захочешь уйти — нужно будет уйти. Независимо от того, что скажет официальный документ или его отсутствие.

— Знаю, — повторила она. — Именно поэтому я его назвала вслух. Не для него. Для себя. Чтобы не забыть, что это возможно.

Кемаль смотрел на неё долго.

— Это умно, — сказал он наконец. Его стандартная формулировка для вещей, которые он не думал сам, но узнаёт как правильные.

— Просто наблюдение.

— Задним числом — да, — сказал он. Это была их шутка теперь, из разговора про оплату после результата. Она узнала и кивнула.

Апрель стал маем. Она начала работать. Не по-новому — так же, как всегда: один пациент за другим, час утром с трактатом, вечер с тетрадью. Только теперь к этому добавилась библиотека — три вечера в неделю, когда было время. И добавился Ар-Рази, которого она читала медленно и с удовольствием. Десятый век, Багдад, практикующий врач с записями о конкретных случаях — через шесть веков она читала его и узнавала метод. Это было хорошим чувством. Не одиночеством — наоборот.

Трактат рос. Медицинская практика росла. Стамбул в мае был другим, чем в феврале, чем в апреле — каждый месяц другим, живым, неудобным, интересным. Ибрагим-паша прислал ей пациента через неделю после подтверждения условий — молодой чиновник с хронической бессонницей. Стандартный случай для дворцовой медицины, она поняла быстро. Страх, а не болезнь. Её первый официальный придворный пациент.

Она лечила его через разговор и режим — не травами, не кровопусканием. Он пришёл два раза. На третий раз спал нормально.

Это было, по её подсчётам, три недели работы. Три недели в Стамбуле при дворе. Это было начало.

* * *

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Хюррем

Она тоже приехала из другого места.

— Вера Соколова, тетрадь наблюдений. Май 1523 г.

* * *

Ибрагим-паша сказал ей об этом мимоходом — в конце разговора о трактате, когда уже встали и когда она думала, что встреча закончилась.

— Послезавтра, — сказал он, уже у двери. — Хасеки хочет лекаря.

— Хасеки, — повторила она. Не вопрос — уточнение: она знала это слово, но хотела убедиться что правильно поняла контекст.

— Хюррем-хасеки. — Пауза — лёгкая, как пауза человека, который взвешивает сколько сказать. — Она говорит по-русски. Это может пригодиться.

Вера смотрела на него. Он смотрел на неё ровно — тем взглядом, в котором не было ни объяснений, ни подсказок.

— Я приду, — сказала она.

Он кивнул и вышел. Она осталась в библиотеке с Ар-Рази, который был открыт на той же странице что и до разговора, и думала.

Хюррем. Хюррем-хасеки — это имя она знала несколько иначе. Роксолана — так называла её европейская традиция, от слова «Рутения», означавшего западнославянские земли. Родилась в Рогатине или около того, это точно не известно — в том, что было Польским королевством, в том, что сейчас называют Западной Украиной. Захвачена при набеге, продана в гарем. Это было обычной судьбой для тех мест в те годы — не редкой, не исключительной, просто одной из тысяч, которые заканчивались рабством или смертью. Её закончилась иначе.

Вера знала про неё больше, чем про Ибрагима-пашу. Не потому что история уделила ей больше внимания — уделила примерно столько же. Просто её история была человеческой иначе: её письма сохранились, её стихи сохранились, её религиозные постройки стоят до сих пор. В исторических источниках она была живой — не функцией при дворе, а человеком, у которого было и беспокойство за детей, и тоска по Сулейману в походе, и практический ум, выстраивавший союзы с точностью военного стратега.

Ей было около восемнадцати лет. Немного моложе Веры.

Вера закрыла Ар-Рази. Встала. Пошла домой — думая о том, что послезавтра встретится с человеком, которого знала хорошо и не знала совсем одновременно.

* * *

Кемалю она сказала вечером.

Он не удивился — Ибрагим-паша иногда использовал такие встречи как проверку: как человек ведёт себя при дворе в ситуации, где нет его собственного взгляда. Хюррем была хорошим инструментом для такой проверки — достаточно влиятельной, чтобы встреча была значимой, достаточно независимой, чтобы отчёт о ней был честным.

— Расскажи мне про неё, — попросила Вера. — Не то, что я могу знать из общего. То, что знаешь ты.

Кемаль помолчал секунду — не оценивая вопрос, а собирая то, что знал, в нужный порядок.

— Умная, — сказал он. — Это первое и главное. Не в том смысле, что справляется — в том, что думает. У неё своя точка зрения, и она её держит. Это редко при дворе — большинство людей здесь держат не свою точку зрения, а ту, которая безопасна. Она держит свою.

— Опасно?

— Для большинства — да. Для неё — пока нет. Сулейман это ценит.

— Пока.

— Да. Пока. — Пауза. — Это честный ответ.

Она кивнула. Это был его стиль — честный, без утешений.

— Она говорит по-турецки как на родном?

— Нет. Хорошо, но с акцентом. Это знают все и никто не говорит.

— А по-русски?

— Думает по-русски, — сказал он. — Как я по-гречески. Первый язык не уходит.

Вера подумала.

— Значит, когда она пишет Сулейману — по-турецки. Когда думает про себя — по-русски.

— Вероятно.

— Это важно знать. — Она смотрела в стол. — Не для медицины. Просто важно.

Кемаль смотрел на неё.

— Ты готовишься к встрече иначе, чем к другим, — сказал он.

— Да. — Она подумала, как объяснить. — С пашой я готовилась к разговору об идеях. С ней — к разговору с человеком. Это другое.

— Потому что она женщина?

— Нет. Потому что она с похожей историей. — Пауза. — Обе чужие здесь. Обе пришли из другого места. Это делает разговор другим.

Кемаль долго смотрел на неё. Потом кивнул и открыл Руми.

* * *

Гарем Топкапы располагался во втором дворе — за воротами, которые назывались Бабус-Саадет, Врата Счастья. Название было официальным и немного иронически точным: за этими воротами жили сотни женщин в условиях, которые по всем внешним меркам были роскошными и по человеческим меркам были тюремными. Архитектура была прекрасной — Вера знала это из учебников по османскому зодчеству. Живой она увидела её впервые.

Её провели через боковой вход — не парадный. Это тоже было частью протокола: лекари входили иначе, чем придворные дамы и иностранные гости. Молчаливая женщина средних лет шла впереди, не оборачиваясь. Коридоры были длинными и прохладными — толстые каменные стены держали весеннее тепло снаружи. На стенах изразцы — тот же сине-белый узор, что везде в Топкапы, но здесь гуще, плотнее, как будто архитектор понимал, что этим стенам нужно держать внутри что-то большее, чем просто людей.

Вера шла и замечала — по привычке, которая стала рефлексом: запоминала не красоту, а структуру. Куда выходят коридоры. Где источник света. Где слышны голоса, а где тишина. Это был её способ входить в незнакомое пространство — не как гость, а как человек, которому нужно понять как оно устроено.

Комната, в которой её ждали, была небольшой — не парадной, рабочей. Низкий стол, подушки вместо стульев, окно в маленький внутренний двор. В дворе было дерево — какое-то цветущее, белое, в мае стоявшее в полном цвету. Через открытое окно входил запах.

Хюррем сидела у окна.

* * *

Вера ожидала красоты — она знала, что Хюррем была знаменита ею при дворе. Красота была, но она не была первым, что Вера заметила. Первым она заметила, как та сидела: прямо, без демонстративности, с тем спокойствием, которое бывает у людей, давно переставших доказывать что-либо своей осанкой. Молодая — около восемнадцати лет, может немного больше — с тем особым выражением человека, много думающего и редко говорящего всё что думает.

Рядом стояла служанка — немолодая, явно давно при ней, с видом человека, который слышал всё и не вспоминает ничего. За столом лежали бумаги — Вера успела заметить краем взгляда: письма или списки, арабским и одно, кажется, на польском.

Хюррем посмотрела на неё спокойно. Взгляд был оценивающим — не враждебно, просто точно. Она привыкла оценивать людей быстро. В её положении это был не каприз, а необходимость.

Вера поклонилась — не глубоко, в меру: она была лекарем, не придворной дамой, и это различие было важным. Хюррем приняла поклон без жеста.

— Садись, — сказала она. По-турецки, стандартная формула.

Вера села. Достала из мешка то, что брала всегда: список вопросов для анамнеза, написанный на отдельном листе по-гречески, и перо. Это был её способ начинать: сначала анамнез, потом осмотр, потом решение. Порядок не менялся от пациента к пациенту — это была её защита от того, чтобы статус пациента влиял на медицинское мышление.

— Расскажи мне что беспокоит, — сказала она по-турецки.

Хюррем смотрела на неё секунду. Потом сказала — тихо, без особого выражения — по-русски:

— Ты понимаешь?

* * *

Вера не ответила сразу.

Не потому что не поняла — поняла мгновенно. Два слова, простых, и за ними — что-то, что она не ожидала почувствовать так остро: язык. Её язык. Не язык, на котором она работала три года и успела сделать своим — греческий, ладино, рыночный турецкий. Её настоящий первый язык, который она слышала последний раз в другом мире, в другом времени, в другой жизни.

Что-то сдвинулось внутри — не больно, просто неожиданно. Как когда долго идёшь в одну сторону и вдруг слышишь запах, который помнишь с детства. Ты не ожидал, ты не готовился, и поэтому он бьёт точнее.

— Понимаю, — сказала она по-русски. Голос вышел ровным — она держала его специально.

Она не ожидала что это будет так.

Не физически — не слёзы, не дрожь, ничего внешнего. Просто что-то внутри, что она не умела назвать точно. Как когда вдруг понимаешь, что нёс что-то тяжёлое так долго, что перестал замечать вес — и вдруг на секунду его сняли.

Три года. Три года она не слышала своего первого языка — не потому что прятала его, а просто потому что в этом мире он был бесполезен. Никто здесь не говорил по-русски. Якоб говорил по-ладино и по-гречески. Кемаль — по-гречески и по-турецки. Рахель — по-ладино, Иоанна — по-гречески. Все пациенты — на своих языках, в которых не было русского.

Она думала иногда по-русски — не контролируя, просто так: когда уставала и мозг переключался на что-то привычное, когда снилось что-то, когда нужно было подобрать слово, которое на греческом было не таким точным. Но это было внутреннее — не звук, не чужой голос, не разговор. Внутреннее не то же самое, что слышать.

Ты понимаешь? — два слова, простых, и за ними язык целиком. С его ритмом, с его мягкими и твёрдыми, с тем особым способом строить вопрос, который на греческом невозможно передать с той же точностью. Вопрос по-русски — это другой вопрос, чем тот же вопрос по-гречески. Это она знала давно, теоретически. Сейчас почувствовала телом.

— Понимаю, — сказала она. И ещё несколько секунд сидела с этим.

Хюррем ждала — без нетерпения, с тем терпением человека, который сам через что-то похожее проходил и знает что торопить не нужно.

Хюррем смотрела на неё. Что-то в её лице изменилось — не большое, не театральное. Маленькое и настоящее: что-то, что напрягалось давно, на секунду отпустило.

Служанка у стены не двигалась. Она, вероятно, не понимала по-русски.

— Ты откуда? — спросила Хюррем.

— Далеко, — сказала Вера. Это был её стандартный ответ на этот вопрос — выработанный, точный, ни лжи, ни откровения.

— Это не ответ.

— Нет. — Пауза. — Но точный.

Хюррем смотрела на неё. Потом — впервые за встречу — что-то в её лице стало ближе к улыбке.

— Далеко, — повторила она по-русски. — Я тоже.

Это было, подумала Вера. Это было именно то.

* * *

Медицинская часть встречи была короткой.

Хюррем была здорова — не в том смысле, что ничего не беспокоило, а в том, что беспокойство было незначительным и управляемым: нарушение сна, которое она описала по-русски кратко и точно («засыпаю, просыпаюсь, потом не могу снова»), небольшая боль в спине после нескольких часов сидения — обычное следствие работы за столом в неудобной позе. Ничего, требующего лечения. Всё, требующее режима.

Вера осматривала методично — не потому что подозревала что-то серьёзное, а потому что осмотр всегда был полным, независимо от статуса пациента. Это было её правило с первого года: сокращённый осмотр — это неуважение к пациенту, не экономия времени.

— Когда последний раз спала хорошо? — спросила она.

Хюррем подумала.

— До похода. Он уходил в феврале.

Вера записала — по-гречески, как всегда. Это был не диагноз: это была корреляция между отсутствием Сулеймана и нарушением сна. Она не назвала это вслух — это было бы выходом за рамки медицины. Просто записала.

— Что ты делаешь перед сном?

— Пишу. — Пауза. — Письма. Или стихи.

— Долго?

— Пока не темнеет в глазах.

— Не стоит доходить до этой грани. — Вера писала, не поднимая глаза. — Письма можно. Стихи хуже. — Пауза. — Стихи требуют другого от ума.

Хюррем молчала секунду.

— Ты читала стихи? По-гречески, наверное.

— По-гречески. И по-ладино. Немного по-турецки — ещё учусь.

— По-русски?

— По-русски читала то, что помню.

Это была тонкая черта — она знала её, держала. Не исповедь. Не откровение. Просто — ответ, достаточно честный, чтобы разговор остался человеческим.

— Что именно?

— Разное. — Пауза. — Слова, которые помнят руки. Не глаза.

Хюррем посмотрела на неё долго. Потом сказала:

— Это хорошая формулировка.

* * *

Служанка принесла чай — без спроса, просто поставила и ушла. Это был знак: встреча продолжается.

Они сидели с чаем — две женщины, которые говорили по-русски в мае 1523 года в гареме Топкапы. Это была ситуация, в которой обе могли выбрать: стать официальными друг для друга или остаться чем-то другим. Хюррем сделала выбор первой.

— Ибрагим-паша прислал тебя, — сказала она. По-турецки теперь — чуть официальнее.

— Да.

— Чтобы проверить, как ты себя ведёшь?

Вера посмотрела на неё.

— Скорее всего.

— Он умный человек, — сказала Хюррем. — Иногда слишком умный.

Вера не ответила. Это была территория, на которую она не входила — придворные суждения о придворных людях в присутствии пациента. Хюррем увидела это молчание и кивнула — приняла.

— Что ты думаешь о нём? — спросила Хюррем. По-русски снова, тихо.

Вера подумала. Честный ответ требовал осторожности — не потому что она боялась сказать неправильное, а потому что думала о человеке, о котором говорила.

— Он думает по-гречески, — сказала она наконец. — Это значит, что его первый язык — детство. Парга, море, рыбный рынок. Когда мы разговариваем по-гречески, мы оба — немного другие.

Хюррем смотрела на неё.

— Ты наблюдательная, — сказала она. Без акцента похвалы — как констатацию.

— Я лекарь. Наблюдение — это работа.

— Нет. — Хюррем немного покачала головой. — Лекари наблюдают тело. Ты наблюдаешь человека. Это другое.

Вера приняла это. Не потому что это был комплимент — потому что это было правдой, и правда из чужих уст звучала иначе, чем из собственной.

* * *

Разговор перешёл — не резко, постепенно, как переходят разговоры, когда двое перестают держать дистанцию и ещё не решили насколько близко.

— Тебе здесь трудно? — спросила Хюррем. По-русски.

— По-другому, чем ожидала, — ответила Вера. — Сначала думала что трудно будет язык. Оказалось — язык не главное.

— А что главное?

— Читать правила. Не те, которые говорят вслух. Те, которые молчат.

— Да. — Хюррем смотрела в окно — на цветущее дерево во дворе. — Здесь очень много молчаливых правил.

— Ты давно научилась их читать?

— Быстро научилась. Когда другого выхода нет — быстро учишься.

Это было сказано без горечи — просто как факт, которому давно прошло время болеть. Вера слышала эту интонацию у людей, которые прошли через тяжёлое и сделали из него часть себя: не забыть, не простить в смысле разрешить, просто принять как то, из чего ты сделан теперь.

— Ты скучаешь по дому? — спросила Вера. Это был вопрос, который она редко задавала первой — слишком личный для первой встречи. Но что-то в этом разговоре сдвинуло её порог.

Хюррем помолчала долго.

— По какому дому? — сказала она наконец. — Того дома больше нет. Это был другой человек.

— Понимаю, — сказала Вера тихо.

— Ты понимаешь, — согласилась Хюррем. Без вопроса.

Они замолчали. Это было молчание, в котором не нужно было ничего говорить — оба его смысла были уже сказаны: я была в другом месте, ты была в другом месте, мы оба здесь. Это — достаточно для того, чтобы понять друг друга в главном.

— Разные пути, — сказала Хюррем через время. По-русски. — Твой — через знание. Мой — через другое.

— Да.

— Ты думала об этом? — Пауза. — Что было бы, если...

— Думала, — сказала Вера. — Не часто. — Она помолчала. — Мне кажется, это вопрос без ответа. Условие было другое. Мы разные люди в разных условиях. Сравнивать — неправильно.

Хюррем смотрела на неё.

— Умно, — сказала она. — Некоторые люди тратят годы на этот вопрос.

— Я тратила. В первый год. Потом перестала — не потому что не хотела думать. Просто поняла, что он потребляет силы, которые нужны на другое.

— На что?

— На работу. На то, что происходит здесь.

— Здесь — в Стамбуле?

— Здесь — в любом месте, где я оказываюсь. Здесь — это всегда настоящее место. — Пауза. — Я долго училась это понимать. Ещё учусь.

Хюррем молчала секунду. Потом:

— Ты не жалеешь?

Вера подумала честно. Это был вопрос, который она задавала себе сама — не часто, но честно, когда позволяла.

— О некоторых вещах — да. — Пауза. — О других — нет. И не уверена, что сумела бы жить иначе. — Она смотрела в окно. — Это трудно объяснить. Когда живёшь какой-то жизнью долго — начинаешь думать, что другая жизнь была бы другим человеком. Не тобой, лучше или хуже. Просто другим.

Хюррем слушала.

— Я понимаю это, — сказала она тихо. — Я тоже думала об этом. Рогатин, дом, семья — это другой человек. Тот человек умер давно. Я — другой.

— Но ты помнишь тот язык.

— Помню. — Маленькая пауза. — Это единственное, что осталось от того человека. Язык и несколько запахов. Трава после дождя. Хлеб из печи.

— Да, — сказала Вера. Просто да — без добавлений. Потому что добавления были бы лишними.

За окном цветущее дерево стояло в полной неподвижности — ни ветра, ни движения. Белые цветы на синем небе. Май.

* * *

— Ты лечишь людей, — сказала Хюррем. Уже по-турецки, чуть официальнее. — Это твой путь здесь.

— Да.

— Мой — другой.

— Знаю.

— Ты не осуждаешь?

Вера смотрела на неё прямо.

— Нет. — Пауза. — Ты выжила и выбрала путь, который был возможен. Я выжила и выбрала другой. Оба пути — из одного материала: из необходимости, из ума, из того, что умеешь.

Хюррем смотрела на неё долго. Что-то в её лице было — не трогательным, Вера не стала бы использовать это слово. Точным. Как будто она только что услышала формулировку того, что сама давно думала, но не называла вслух.

— Хороший лекарь, — сказала она наконец. Это тоже было не комплиментом — констатацией.

— Стараюсь быть.

— Нет, — сказала Хюррем. — Ты уже есть.

Вера приняла это. Снова — потому что правда.

Они говорили ещё немного — о медицинских вещах снова: режим сна, распорядок дня, что делать с болью в спине (проще: сидеть иначе, построить прогулку до обеда, два раза в неделю достаточно). Хюррем слушала так же, как паша — полным вниманием, без лишних слов. Это была, поняла Вера, черта умных людей этого двора: они умели слушать. Двор отбирал тех, кто умел слышать.

Служанка принесла ещё чай. Никто не торопился заканчивать.

* * *

Когда Вера уходила — та же молчаливая женщина вела её обратно через коридоры — Хюррем сказала ей у двери, по-русски, тихо:

— Приходи снова. Не когда нужен лекарь. Просто.

Вера обернулась.

— Хорошо.

— И — одна вещь. — Хюррем говорила спокойно, без нажима, с тем ровным тоном, которым говорят о важном, не делая из него события. — Здесь то, что ты видишь — держи при себе. Не потому что опасно. Просто — правило.

— Я знаю это правило.

— Знаю, что знаешь. Поэтому говорю.

Это была логика человека, который привык объяснять не для того, чтобы научить, а для того, чтобы сказать: я вижу тебя достаточно хорошо, чтобы говорить прямо. Вера поняла это именно так.

— Хорошо, — повторила она.

Хюррем кивнула. Служанка уже ждала.

* * *

Кемаль ждал её за воротами.

Не потому что договаривались — просто пришёл. Это тоже было его языком: не слова беспокойства, а присутствие там, где могло понадобиться. Она увидела его у фонтана, у того самого, мимо которого шла в апреле на первую встречу с пашой. Он смотрел на воду. Потом обернулся.

— Как? — спросил он.

Она подумала. Как объяснить.

— По-русски, — сказала она.

Он смотрел на неё.

— Она заговорила по-русски?

— Да.

— И ты...

— И я понимала. — Пауза. — Это было странно. Не плохо. Просто странно. Я не слышала его давно.

Кемаль кивнул — медленно, тем кивком, который означал понял и думаю.

— Что ещё?

— Она умная. — Вера шла, Кемаль рядом. — Не в смысле образованности — хотя и это. В смысле — видит. Людей, ситуации. Быстро и точно.

— Это важно для тебя?

— Важно в том смысле, что с ней можно говорить без дополнительного слоя. — Она думала как это сформулировать точнее. — С большинством людей при дворе есть слой: они что-то говорят, за этим что-то имеют в виду, и нужно переводить. С ней — меньше этого.

— Потому что она чужая здесь тоже.

— Да. Чужие делают меньше слоёв — потому что они уже не внутри системы полностью. Видят её снаружи чуть больше, чем те, кто вырос внутри.

Кемаль шёл рядом и молчал — тем молчанием, которое она знала как думаю и принимаю.

— Ты придёшь снова? — спросил он через улицу.

— Она попросила.

— Хорошо.

— Ты не спрашиваешь зачем?

— Нет. — Пауза. — Потому что ты не ходишь куда не нужно.

Она посмотрела на него. Это было — то. Точно то.

* * *

Дома она записала в тетрадь — не в медицинскую, в личную — несколько строк.

Писала долго. Медленнее, чем обычно. Слова давались не труднее, просто нужно было подобрать точные.

«Май 1523. Хюррем-хасеки. Медицинская часть: нарушение сна, боль в спине, оба случая незначительные, рекомендации даны. Это — в медицинской тетради.

В личной — другое.

Она заговорила по-русски. Это был первый русский язык, который я слышала с тех пор, как всё это началось. Три года. Я не думала, что это будет так. Не знаю как именно — просто не так.

Две странных вещи одновременно: мне было хорошо от этого, и мне было странно. Хорошо, потому что что-то открылось, чего я не знала что было закрыто. Странно, потому что это открылось в этом месте, в этом году, с этим человеком — а не там и тогда, где я это ждала бы.

Она сказала: я тоже из далеко. Я ответила: я тоже. Это — достаточно. Иногда один обмен делает то, для чего другим нужны месяцы.

Что мне важно помнить про неё: она видит. Быстро и без лишних слов. Этот тип ума — редкий. И он неизбежно несёт свою цену: люди, которые видят, видят и то, что лучше бы не видели. Это она тоже несёт. Я это почувствовала — не спросила.

Кемаль спросил: ты придёшь снова? Она попросила. — Да. Она попросила не потому что нужен лекарь. По другой причине. По той, что трудно называть просто, и не нужно.

Что это меняет: пока не знаю. Что что-то меняет — знаю.»

Она закрыла тетрадь. Посмотрела в окно — майский вечер, длинный, с тем мягким светом, который бывает когда солнце уже почти ушло, но ещё немного осталось. Голуби на крыше соседа. Дети на улице.

Она подумала: я слышала русский язык в Стамбуле в мае 1523 года. Это была она — молодая женщина из Рогатина, которую привезли сюда против воли и которая из этого сделала себе жизнь, другую, но жизнь. Я из другого времени и другого места. Нас разделяет всё, что только можно придумать. Нас соединяет то, что мы обе здесь и оба первых языка думают по-русски.

Это было достаточно. Это было, пожалуй, больше, чем достаточно.

* * *

Вторая встреча случилась через неделю.

Она не была медицинской. Хюррем прислала записку через служанку — по-турецки, коротко, с тем ровным дворцовым тоном, за которым не понять ни настроения, ни срочности:

«Приходи». Без времени, без указания повода. Вера пришла в тот же час что и первый раз — логика подсказывала, что если нет инструкции, значит подходит то, что уже было.

В этот раз бумаги со стола убрали. Принесли что-то поесть — финики, орехи, лепёшка ещё тёплая. Хюррем сидела у того же окна, с тем же видом — цветущее дерево уже отцвело за неделю, теперь только зелень. Весна в Стамбуле шла быстро.

— Как спала? — спросила Вера. По-турецки — это был профессиональный вопрос, он так и звучал.

— Лучше. — Хюррем взяла финик. — Что ты писала тогда? В свою тетрадь.

— Осмотр. Симптомы. Рекомендации.

— На каком языке?

— На греческом.

— Всегда на греческом?

— Трактат — на греческом. Медицинские записи — на греческом. Личное — тоже на греческом. — Пауза. — Теперь.

— Теперь, — повторила Хюррем. — Значит, не всегда.

— Нет. Не всегда.

Хюррем смотрела на неё.

— Ты начала думать на греческом?

— О работе — да. О других вещах — по-разному.

— Я думаю по-русски, — сказала Хюррем просто. — Сны мне снятся по-русски. Когда молюсь — по-русски, хотя молитвы теперь другие. — Пауза. — Это не меняется.

— Нет, — согласилась Вера. — Это не меняется.

Они помолчали. Это молчание было другим, чем на первой встрече, — не первым узнаванием, а уже вторым. Чуть привычнее. Чуть менее осторожным.

— Ты была на войне, — сказала Хюррем. Это был не вопрос.

— Да.

— Белград и Родос — это говорят.

— Говорят?

— Слухи ходят. Дворец слышит всё. — Маленькая пауза. — Это правда?

— Правда.

— Как лекарь?

— Да.

— Тебе было страшно?

Вера подумала честно.

— Да. Не так, как ожидала. Страшно было в другие моменты, не в те что казались очевидными.

— Это всегда так. — Хюррем говорила спокойно. — Страшное — не там, где ждёшь.

Это была её опытная интонация — та, которую Вера уже слышала в первой встрече, интонация человека, много прошедшего и не театрализованного пройденного. Ей было восемнадцать, и она говорила как человек вдвое старше. Это не удивляло Веру — она видела такое раньше. Некоторые люди взрослеют быстро потому что у них нет выбора.

* * *

Хюррем писала много. Это Вера знала — не от неё самой, а из того, что читала в другом мире: её письма сохранились. Десятки писем Сулейману, написанных пока он был в походах, написанных по-турецки, с формулами вежливости и любви, принятыми при дворе, и под ними — что-то живое, что пробивалось сквозь формулы. Беспокорство за детей, тоска по нему, практические вопросы о делах. Это была женщина, которая любила — не для политики и не для выживания. Просто любила. Это было редкостью при дворе такого масштаба.

Она не знала, стоит ли говорить ей об этом. Про письма — нет, это было бы слишком объяснять. Но что-то другое — возможно.

— Ты пишешь, — сказала Вера во вторую встречу. — Письма. Ты говорила.

— Да. — Хюррем смотрела в окно. — Пока он в Эдирне. Письма — это способ присутствовать там, где тебя нет.

— Мне это знакомо. — Пауза. — Только мои письма идут в другую сторону. К людям, которые ждут. Не тем, кого я жду.

— Кто ждёт?

— Якоб. В Смирне. Торговец, который дал мне работу когда я только приехала. — Пауза.

— Он как якорь. Пока он ждёт — есть куда возвращаться.

— Это важно, — сказала Хюррем. — Знать, что есть куда.

— Да. — Вера посмотрела на неё. — У тебя есть куда?

Хюррем молчала долго. Потом:

— Здесь. Здесь — есть. — Пауза. — Это и есть куда.

Это был её ответ — не тот, который она мечтала бы дать, может быть. Но честный. Дом — это не всегда место откуда ты. Иногда это место, которое ты выбрала, или которое выбрало тебя, или которое просто стало твоим потому что других вариантов не осталось и это оказалось достаточным. Вера понимала это лучше большинства.

— Тогда хорошо, — сказала она тихо. — Это хорошо.

В середине второй встречи Хюррем спросила кое-что, чего Вера не ожидала.

— Ты думаешь, что вернёшься?

Вера посмотрела на неё.

— Домой?

— Туда, откуда пришла.

Долгая пауза. Честный ответ требовал точности — не того, что хотела сказать, а того, что было правдой.

— Нет, — сказала она наконец. — Туда — нет. — Пауза. — Но есть другое место, которое стало домом. Другим. Я туда вернусь.

— Где?

— Смирна.

Хюррем кивнула. Не переспросила, не удивилась — просто приняла. Это тоже была черта, которую Вера у неё замечала: не нужно объяснять дальше, чем ты хочешь. Она не требовала объяснений.

— Я тоже думаю иногда, — сказала Хюррем. — Не вернуться. Просто — как это выглядело бы. Рогатин, улица, которую я помню, лицо матери. — Пауза. — Это как читать книгу о другом человеке.

— Да. — Это было точно. — Именно как книга. Ты знаешь все слова, но читатель уже другой.

Хюррем посмотрела на неё с тем выражением, которое Вера уже начинала узнавать: когда что-то сказанное попало точно. Не всегда это выражалось внешне — иногда только в том, как она молчала после.

— Ты хорошо говоришь, — сказала Хюррем. — Точно.

— Я лекарь. Точность — привычка.

— Нет, — снова то же слово, тем же тоном. — Лекари бывают точными в теле. Ты точна в словах о людях. Это другое.

— Это от наблюдения, — сказала Вера. — И от того, что два года объясняла сложное людям, которые говорят на других языках. Учишься формулировать так, чтобы поняли.

Хюррем чуть улыбнулась — первый раз в этой встрече по-настоящему.

— И тебя понимают?

— Обычно. — Пауза. — Кроме случаев, когда не хотят понимать. Но это уже не проблема языка.

— Нет, — согласилась Хюррем. — Это другая проблема.

Они обе замолчали — и в этом молчании было что-то общее: понимание того, что некоторые проблемы одинаковы для обеих, хотя пути у них разные. Это был, поняла Вера, один из тех редких разговоров, в которых люди не объясняют друг другу очевидное — потому что очевидное уже очевидно с обеих сторон.

Она уходила со вторым новым пониманием за короткое время.

Первое было из первой встречи: русский язык звучит иначе, чем помнишь изнутри. Из любого языка, который долго не слышишь снаружи.

Второе — из этой. Хюррем здесь дома — не из-за гарема, не из-за Сулеймана только. Из-за того, что сделала это место своим изнутри. Это был не маленький выбор. Это был огромный выбор, сделанный тихо и без объявления.

Она думала о Смирне. О том, что Смирна тоже стала её домом так же — тихо, через работу, через Якоба и Рахель и Димитриса, через запах порта и виноград на решётке во дворе. Не потому что она это планировала. Потому что жила там, и жизнь — то, что ты делаешь каждый день — и есть дом.

Стамбул ещё не дом. Может быть никогда не станет. Но это хорошее место для работы, и в нём есть люди, с которыми можно говорить на первых языках. Это уже немало.

В конце мая она записала в итоговую тетрадь:

«Май 1523. Хюррем — две встречи. Медицинская часть: стабильна, рекомендации выполняются, сон улучшился. Повторный визит через месяц если ничего не изменится.

Остальное — не медицинское, но тоже важное.

Она сказала: приходи просто. Это приглашение не к лекарю — к человеку. Я приму.

Что это такое, я ещё не до конца понимаю. Не дружба в обычном смысле — слишком разные условия, слишком много несказанного между нами. Не только профессиональный контакт — русский язык делает это невозможным.

Что-то третье. Возможно, у этого нет стандартного названия — два чужих человека в одном месте, которые узнали друг друга через одно общее: откуда пришли и как с этим живут. Это — своя категория.

Кемаль спросил: ты будешь с ней осторожна? Я сказала: да. Он кивнул. Это было всё. Этого достаточно.»

Она положила перо. Закрывает тетрадь. За окном Стамбул в конце мая был тёплым и долгим — вечер тянулся, не хотел заканчиваться. Где-то в квартале кто-то играл на чём-то струнном — негромко, не для публики, для себя.

Она думала о Хюррем. Думала о русском языке. Думала о том, что в этом городе она нашла двух людей, с которыми можно говорить на первых языках — с Кемалём по-гречески, с Хюррем по-русски. Это не было за

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.